This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

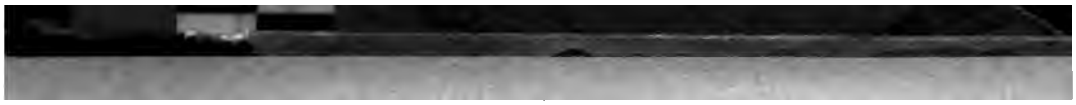
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

„На памятникъ Чехову“

Стихи и проза.

1906.

STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES



„На памятникъ А. П. Чехову".

СТИХИ и ПРОЗА.

STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES

„На памятникъ А. П. Чехову".

СТИХИ и ПРОЗА.

Антон Чехов

Na pamiątnik A. P. Chechovu.
"

„На памятникъ А. П. Чехову".

СТИХИ И ПРОЗА.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. А. П. Чеховъ по воспоминаніямъ о немъ и письмамъ, Ѳ. Д. Батюшкова.
2. Стихотворенія.
   а) Посвященіе Плещева А. П. Чехову (1888 г.).
   б) Памяти Чехова.
   в) Стихотворенія.
3. Изъ переписки А. П. Чехова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія т-ва „Общественная Польза", Больш. Подъяческая, 39.
1906.

L.K.

PG3458
A1N2

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Цѣль настоящаго сборника едва ли нуждается въ поясненіи и оправданіи. Два слова лишь о его происхожденіи и составѣ. Уже на другой день послѣ похоронъ А. П. Чехова въ газетахъ появились извѣстія о пожертвованіяхъ на сооруженіе памятника скончавшемуся писателю и учрежденіе школы его имени. Суммы направлялись въ редакцію журнала «Русская Мысль». Размѣры ихъ еще не были опредѣлены, но трудно ожидать, чтобы безъ правильно организованной подписки дѣло двинулось впередъ очень быстро. Желая по возможности содѣйствовать скорѣйшему осуществленію этого плана, возникшаго такъ непосредственно у почитателей Чехова, нѣсколько молодыхъ писателей задумали издать къ годовщинѣ его смерти литературный сборникъ. Иниціатива принадлежитъ стихотворцамъ—А. М. Василевскому и А. А. Лукьянову, подчинившимся всецѣло обаянію поэтической прозы Чехова, и пожелавшимъ прежде всего сплести вѣнокъ изъ стихотвореній на его могилу. Къ названнымъ лицамъ присоединились еще—В. В. Башкинъ и Г. А. Галина. Для выработки общаго плана изданія и его редактированія въ цѣломъ иниціаторы сборника обратились къ Ѳ. Д. Батюшкову, которому поручена была и вступительная статья къ сборнику. Такъ составилась редакція изъ пяти лицъ. Планъ изданія выяснялся отчасти въ зависимости отъ поступившаго матерьяла послѣ сдѣланныхъ въ газетахъ публикацій. Въ редакцію прислана была изъ разныхъ концовъ Россіи масса стихотвореній, но, къ сожалѣнію, значительнымъ большинствомъ ихъ редакція не могла вос-

пользоваться по соображеніямъ внѣшнимъ или внутреннимъ, т. е. либо содержаніе ихъ не подходило къ изданію, имѣвшему опредѣленное назначеніе, либо искреннее чувство не умѣло еще найти себѣ соотвѣтствующее выраженіе въ художественной формѣ. Пришлось ограничить выборъ между стихотвореніями авторовъ съ болѣе или менѣе извѣстными именами. Многіе поэты уже выразили свою скорбь по утратѣ дорогого имъ писателя тотчасъ послѣ его кончины или въ годовщину смерти, и редакція сборника сочла умѣстнымъ прежде всего собрать эти стихотворенія, разсѣянныя по разнымъ газетамъ и журналамъ. Такъ составились два первыхъ отдѣла помѣщаемыхъ ниже стихотвореній, къ которымъ присоединено лишь нѣсколько еще не бывшихъ въ печати. Въ третьемъ отдѣлѣ (в) помѣщены исключительно оригинальныя стихотворенія, которыя по настроенію, по темамъ или сюжетамъ, имѣютъ нѣкоторое отношеніе къ творчеству Чехова.

Сборникъ памяти Чехова неизбѣжно долженъ былъ принять личную окраску, и составителямъ его естественно думалось, что чѣмъ больше въ немъ окажется „самого Чехова“, тѣмъ достойнѣе будетъ почтена его память. Отсюда мысль собрать его письма. Сряду послѣ кончины Чехова отрывки изъ его корреспонденціи стали появляться въ статьяхъ, посвященныхъ его памяти, и сразу же были оцѣнены: Чеховъ несомнѣнно обладалъ исключительнымъ талантомъ и въ эпистолярномъ родѣ. Его письма, по художественной простотѣ формы и сжатой выразительности разсѣянныхъ въ нихъ мыслей, сопоставляли съ письмами Пушкина. Интересъ ихъ внѣ всякаго сомнѣнія, даже если принять во вниманіе, что не всякое мимоходомъ брошенное замѣчаніе имѣетъ устойчивое значеніе продуманной и провѣренной мысли: особенностью именно эпистолярнаго рода представляется непосредственность выраженія порой мимолетнаго впечатлѣнія. Иногда эти впечатлѣнія сразу отливаются въ законченную форму думы или афоризма; иногда они показатель только настроенія минуты. Нужно, конечно, различать эти двѣ категоріи „мыслей“ и остерегаться выводовъ на основаніи отдѣльно выхваченныхъ фразъ изъ корреспонденціи. Но значеніе писемъ опредѣляется и независимо отъ конечныхъ выводовъ относи-

тельно міросозерцанія, взглядовъ и убѣжденій писателя. У Чехова они прежде всего рисуютъ намъ человѣка,—большого художника,—необыкновенно живого, отзывчиваго, благожелательнаго, безконечно остроумнаго и находчиваго. Сколько въ нихъ и непосредственнаго юмора и неподдѣльнаго чувства. Какъ легко А. П. переходитъ отъ серьезнаго тона къ шуткѣ и, обратно, отъ безразличнаго изложенія къ глубокому и мѣткому замѣчанію, которое вспыхиваетъ яркимъ огонькомъ, даже на сѣромъ фонѣ какого нибудь дѣлового письма. Надо надѣяться, что со временемъ выйдетъ полное собраніе писемъ Чехова. Началомъ ему да послужатъ помѣщаемыя ниже 50 съ лишнимъ писемъ, часть которыхъ уже была напечатана въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ, а около трети появляется здѣсь впервые. Не воспроизведены лишь записки безразличнаго содержанія или отрывки, не имѣющія самостоятельнаго значенія.

Освѣщенію личности Чехова посвящена и вступительная статья о немъ, по воспоминаніямъ и письмамъ, и, такимъ образомъ, въ сборникъ „на памятникъ Чехову“ въ общемъ приносится больше всего то, что исходитъ отъ него самого. Новые, не бывшіе еще въ печати, снимки съ портретовъ Чехова (на ряду съ двумя, тремя портретами уже бывшими въ печати) были любезно предоставлены для изданія братомъ покойнаго, Михаиломъ П. Чеховымъ, равно какъ и текстъ крайне интереснаго письма Антона Павловича изъ Абациіи, адресованнаго неизвѣстному лицу. И. Л. Щегловъ сообщилъ текстъ письма Чехова Д. В. Григоровичу, любезно предоставленный для напечатанія въ настоящемъ изданіи его владѣльцемъ г. Бахрушинымъ, и нѣсколько неизданныхъ писемъ къ нему самому. А. А. Плещеевъ предоставилъ нѣсколько, тоже не бывшихъ еще въ печати, писемъ Антона Павловича къ его отцу и т. д. Объемъ изданія приневоливалъ къ нѣкоторому ограниченію въ выборѣ писемъ, но разъ этому дѣлу положено начало, нельзя не пожелать его продолженія въ будущемъ въ интересахъ наивозможно полнѣйшаго освѣщенія личности Чехова и того богатаго матерьяла, который, судя по имѣющимся у насъ образцамъ, въ нихъ заключается, скажемъ даже для исторіи цѣлаго литературнаго періода или цѣлой полосы въ жизни русскаго общества. Чеховъ неодно-

кратно выступаетъ въ своихъ письмахъ и критикомъ и изобличителемъ; онъ даетъ характеристики современниковъ, оцѣниваетъ литературныя произведенія и высказывается о разныхъ явленіяхъ жизни. Какъ не признать во всемъ этомъ богатѣйшія данныя даже для будущаго историка русскаго общества на рубежѣ двухъ столѣтій.

Внѣшнія обстоятельства на время задержали изданіе сборника. События, переживаемыя Россіей, временно заслонили интересы культурной жизни, а Чеховъ былъ по преимуществу именно „культуристомъ", т. е. интересовался главнымъ образомъ духовной жизнью индивидуумовъ и общества, и всего болѣе сочувствовалъ успѣхамъ культурной работы. Это задача, которая, конечно, никогда не можетъ быть упразднена. Перерывъ обусловленъ гнетомъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Они еще продолжаютъ тяготѣть надъ обществомъ, парализуя нормальный ходъ жизни. Но въ завѣтахъ и идеалахъ лучшихъ нашихъ художниковъ и мыслителей почерпаются силы и для дальнѣйшей борьбы съ неблагопріятными обстоятельствами во имя правды, добра и свободы, которыхъ неуклоннымъ поборникомъ былъ и Чеховъ, за все время своей литературной дѣятельности. Чествовать его память—значитъ служить тѣмъ же идеямъ.

Чистый доходъ съ настоящаго изданія для намѣченной цѣли будетъ пересылаться въ журналъ „Русская Мысль", въ составъ редакціи котораго Чеховъ вступилъ незадолго до смерти, и куда уже были отправлены первыя пожертвованія „на памятникъ Чехова".

I.

А. П. Чеховъ,

по воспоминаніямъ о немъ и письмамъ

(Опытъ характеристики).

А. П. Чеховъ въ 1884 году.

Ни объ одномъ русскомъ писателѣ еще не появлялось въ короткій срокъ одного года послѣ его кончины такого количества воспоминаній о немъ, разсказовъ о встрѣчахъ съ нимъ, случайныхъ разговоровъ и подхваченныхъ на лету „словечекъ“, отрывковъ изъ писемъ и т. д., при общемъ благоговѣйно-любовномъ отношеніи къ его личности и какой-то особой сердечной симпатіи къ его духовному облику, какъ объ Антонѣ Павловичѣ Чеховѣ. И если были въ томъ числѣ весьма незначительныя сообщенія о встрѣчахъ и знакомствѣ, которыя не избѣгли въ свое время остроумной пародіи г. Дорошевича (въ „Русск. Сл.“), то остался рядъ очерковъ-воспоминаній о Чеховѣ авторовъ съ крупными литературными именами, давшихъ нѣсколько прекрасныхъ страницъ въ освѣщеніе личности „несравнимаго художника“, какъ называлъ Чехова Левъ Никол. Толстой, и подошедшихъ къ его оцѣнкѣ съ разныхъ сторонъ. Быть можетъ, мы теперь еще не получаемъ полнаго, законченнаго образа, во всей сложности дарованій художника и

свойствъ человѣка, но главнѣйшія черты его духовнаго облика намѣчаются достаточно рельефно—и это почти непосредственно послѣ его кончины. Чехову въ данномъ отношеніи исключительно повезло.

Произошло оно, конечно, не случайно. Всѣ воспоминанія и характеристики свидѣтельствуютъ прежде всего о необыкновенномъ обаяніи Чехова, которому подчинялись лично его знавшіе, объ его умѣніи съ каждымъ обойтись не только привѣтливо, но съ какой-то задушевной лаской, и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ онъ давалъ отпоръ, уходилъ въ себя, старался отдѣлаться, принявъ сухой тонъ или прибѣгая къ насмѣшкѣ. Но чтобы вызвать этотъ отпоръ, нужны были особенныя причины, и даже въ такихъ случаяхъ онъ старался избѣгать всякой рѣзкости. Его любили многіе, люди разныхъ взглядовъ и направленій, разныхъ темпераментовъ и убѣжденій. Любили больше знавшіе его, чѣмъ даже многіе цѣнители и почитатели его произведеній, такъ какъ далеко не всѣ, признававшіе его крупный литературный талантъ, относились съ одинаковой симпатіей къ его настроеніямъ. Теперь говорятъ даже, что „чеховская Россія“ умерла. Это невѣрно: она преобразуется, но въ основныхъ чертахъ живетъ, несмотря на рѣзкую перемѣну внѣшнихъ условій и даже перемѣну настроеній — живетъ хотя бы „потенціально“ въ каждомъ изъ насъ, какъ неизмѣнно живы гоголевскіе типы и характеры, тургеневскіе „герои“ и женскіе образы, щедринскія изобличенія свойствъ русскаго человѣка и т. д. Мы еще вернемся къ Чехову, когда пройдетъ острый періодъ переустройства нашего гражданскаго быта, вернемся потому, что во многомъ обязаны ему той „переоцѣнкой цѣнностей“, изъ которой создаются основы обновленной, свободной страны.

Личное обаяніе Чехова, повидимому, зависѣло не только отъ того, что онъ и въ жизни сохранялъ отличительныя свойства своихъ дарованій, какъ писателя, проявлялъ необыкновенную чуткость, воспріимчивость, былъ находчивъ и безконечно остроуменъ въ бесѣдѣ, также какъ и въ письмахъ и въ писаніяхъ, умѣлъ сразу найти мѣткое опредѣленіе, подсказать неожиданный выводъ—словомъ, что его творческая мысль работала не только, когда онъ „бралъ перо въ руки“, а въ постоянномъ обиходѣ жизни: какъ человѣкъ, онъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ восполнялъ художника, и въ силу этого многое въ его литературной дѣятельности представляется съ инымъ значеніемъ въ освѣщеніи его личности. Къ этому сопоставленію человѣка и писателя, нужно, конечно, относиться съ большою осторожностью. Поможетъ намъ самъ Чеховъ сразу намѣтить грань.

Въ одномъ изъ воспоминаній о немъ приводится слѣдующій отрывокъ разговора съ Чеховымъ: „Скажите, имѣетъ ли какое-нибудь отношеніе личная нравственность или безнравственность автора къ его таланту?

— Да, имѣетъ,—отвѣтилъ Антонъ Павловичъ: вотъ точно такое же, какъ большой или небольшой носъ у этого автора [1]).

Отвѣтъ, вполнѣ достойный чеховскаго остроумія. Дѣйствительно, давно пора было освободиться отъ той точки зрѣнія доктринальнаго морализма, съ которой подходили къ оцѣнкѣ писателей и художниковъ, и вмѣсто того, чтобы судить о произведеніяхъ искусства по существу, предъявляли къ авторамъ какой-то искъ въ ихъ моральной „благонадежности“, въ томъ или другомъ смыслѣ. Художникъ живетъ двойной жизнью, и процессы творчества, во многомъ безсознательные, не связаны органическою связью съ поступками, ни даже съ „добродѣтелью“ человѣка. За нравственное или безнравственное поведеніе художникъ можетъ дать отчетъ своему духовнику, буде таковой у него имѣется. Во всякомъ случаѣ онъ въ этомъ отношеніи подлежитъ общей отвѣтственности по существующимъ въ данное время нормамъ нравственности, какъ и всякій обыкновенный смертный. Непосредственнаго отношенія къ таланту нравственность или безнравственность автора не имѣетъ. Но объемъ и развитіе таланта, конечно, въ значительной степени обусловлены душевными свойствами писателя или художника, способностью реагировать на моральные запросы и чувствовать идеи нравственнаго порядка. Безъ этихъ свойствъ возможна лишь нѣкоторая внѣшняя виртуозность, безъ глубины и даже, сказали бы мы, безъ существеннаго содержанія. А какимъ образомъ „безнравственность“ можетъ порой загубить талантъ, объ этомъ съ достаточной выразительностью повѣствуетъ хотя бы посмертная книга „De profundis“— Оскара Уайльда, который раскрылъ въ ней весь трагизмъ своей бурно прожитой жизни. Но грустные итоги ея не умаляютъ значенія роскошнаго расцвѣта таланта въ ту пору, когда онъ считалъ себя освободившимся отъ всякихъ счетовъ съ моралью, сохранивъ, однако, способность всю жизнь ощущать ея запросы. Впрочемъ, какъ уже замѣчено, вопросъ не въ поведеніи человѣка, а именно въ свойствахъ его духовной организаціи, въ способности понимать и откликаться на требованія этики. Тутъ связь несомнѣнная.

Чехова не менѣе чѣмъ самыхъ выдающихся нашихъ художниковъ слова тревожили проблемы нравственности, и его личныя ду-

[1]) Бор. Лазаревскій, въ „Журн. для всѣхъ“. См. библіографію въ концѣ статьи.

шевныя свойства стоятъ въ полной гармоніи съ его дѣятельностью, какъ писателя; указанное соотношеніе возвышаетъ интересъ къ человѣку, параллельно заслугамъ писателя. Въ чемъ же именно выражалось соотвѣтствіе человѣка и писателя въ лицѣ Чехова, въ чемъ воспоминанія его личности восполняютъ намъ образъ художника, исправляя нѣкоторыя ошибочныя сужденія о немъ, сложившіяся въ обществѣ на основаніи тѣхъ или другихъ его произведеній?

Напомнимъ прежде всего, что Чеховъ оставилъ намъ двѣ своихъ автобіографіи. Одна изъ нихъ въ шутливомъ тонѣ приведена въ воспоминаніяхъ Вл. А. Тиханова [1]).

«... Вамъ нужна моя біографія? Вотъ она. Родился я въ Таганрогѣ въ 1860 г. (17-го января). Въ 1878 г. кончилъ курсъ въ таганрогской гимназіи. Въ 1884 г. кончилъ курсъ въ московскомъ университетѣ по медицинскому факультету. Въ 1888 г. получилъ пушкинскую премію. Въ 1890 г. совершилъ путешествіе на Сахалинъ и обратно моремъ. Въ 1891 г. совершилъ турнэ по Европѣ, гдѣ пилъ прекрасное вино и ѣлъ устрицъ. Въ 1892 г. гулялъ на именинахъ съ В. А. Тихоновымъ. Писать началъ въ 1879 г. въ «Стрекозѣ». Сборники мои суть: «Пестрые разсказы», «Въ сумеркахъ», «Хмурые люди», и повѣсть «Дуэль». Грѣшилъ и по драматической части, хотя и умѣренно. Переведенъ на всѣ языки, за исключеніемъ иностранныхъ. Впрочемъ, давно уже переведенъ нѣмцами. Чехи и сербы то же одобряютъ. И французы не чужды взаимности. Тайны любви постигъ я, будучи 13 лѣтъ. Съ товарищами, какъ врачами, равно и литераторами, пребываю въ отличнѣйшихъ отношеніяхъ. Холостъ. Желалъ бы получить пенсію. Медициной занимаюсь и даже настолько, что случается лѣтомъ произвожу судебно-медицинскія вскрытія, коихъ не совершалъ уже года 2—3. Изъ писателей предпочитаю Толстого, изъ врачей Захарьина.

«Однако, все это вздоръ. Пишите, что угодно. Если нѣтъ фактовъ, то замѣните ихъ лирикою...»

Другая автобіографія, написанная нѣсколькими (4—5) годами позже, послѣ 20 лѣтъ литературной дѣятельности, выдержана въ болѣе серьезномъ стилѣ. Она была сообщена д-ромъ Г. И. Россолимо въ „Русск. Вѣдом.“ [2]) отъ неизвѣстнаго друга Антона Павловича. Опуская даты и факты, перечисленные въ первой автобіографіи, приведемъ замѣчанія А. П. по поводу избранной имъ первоначально профессіи врача. Чеховъ признается, что когда онъ выбралъ, при зачисленіи въ университетъ, медицинскій факультетъ, то, „вообще о факультетахъ имѣлъ тогда слабое понятіе“ и не помнитъ, по какимъ соображеніямъ остановился на этомъ выборѣ, — „но въ выборѣ потомъ не раскаявался“.

---

[1]) „Міръ Божій“, 1905 г. Августъ.
[2]) 1904 г. Іюль.

«Не сомнѣваюсь,—писалъ далѣе А. П.,—занятія медицинскими науками имѣли серьезное вліяніе на мою литературную дѣятельность: они значительно раздвинули область моихъ наблюденій, обогатили меня знаніями, истинную цѣну которыхъ для меня, какъ для писателя, можетъ понять только тотъ, кто самъ врачъ; они имѣли также и направляющее вліяніе и, вѣроятно, благодаря близости къ медицинѣ, мнѣ удалось избѣжать многихъ ошибокъ. Знакомство съ естественными науками, съ научнымъ методомъ всегда держало меня на сторожѣ, и я старался, гдѣ было возможно, сообразаться съ научными данными, а гдѣ невозможно, предпочиталъ не писать вовсе. Замѣчу, кстати, что условія художественнаго творчества не всегда допускаютъ полное согласіе съ научными данными: нельзя изобразить на сценѣ смерть отъ яда такъ, какъ она происходитъ на самомъ дѣлѣ. Но согласіе съ научными данными должно чувствоваться и въ этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что онъ имѣетъ дѣло со свѣдущимъ писателемъ... Къ беллетристамъ, относящимся къ наукѣ отрицательно, я не принадлежу; къ тѣмъ, которые до всего доходятъ своимъ умомъ, не хотѣлъ бы принадлежать. Что касается практической медицины, то еще студентомъ я работалъ въ воскресенской земской больницѣ (близъ Новаго Іерусалима), у извѣстнаго земскаго врача П. А. Архангельскаго, потомъ недѣлю былъ въ звенигородской больницѣ. Въ холерные годы (1892—1893) завѣдывалъ мелиховскимъ участкомъ Серпуховскаго уѣзда».

Чрезвычайно характерно тутъ признаніе Чехова о значеніи, придаваемомъ имъ усвоенному научному методу, объ уваженіи къ наукѣ, вообще, и о настоятельной заботѣ сообразаться съ научными данными, или—„не писать вовсе“. Этимъ опредѣляется его основное стремленіе къ правдѣ, къ наивозможно объективной, полной правдѣ, которая не должна быть заслоняема даже въ тѣхъ случаяхъ, когда неизбѣжна нѣкоторая условность въ художественной передачѣ явленій жизни. Сознаваемая „условность“ уже не есть фальшь или обманъ: всѣмъ ясно, почему художникъ долженъ былъ къ ней прибѣгнуть. Уже само по себѣ, это всецѣлое, безкорыстное и настойчивое стремленіе къ правдѣ характеризуетъ высокій подъемъ душевныхъ силъ въ писателѣ, который избралъ трудный путь служенія отвлеченному принципу, не сдаваясь ни на какіе компромиссы не только въ угоду вкусамъ публики, но и собственнаго художественнаго темперамента, склоннаго къ шаржу, къ юмору, остротамъ, не всегда въ соотвѣтствіи съ научнымъ „методомъ“, или съ „научными данными“... Чеховъ подвергалъ себя постоянной провѣркѣ, долженъ былъ слѣдить за собою во имя поставленнаго себѣ имъ самимъ идеала.

Съ нимъ вполнѣ вяжется и литературная программа Чехова, въ томъ видѣ, какъ онъ ее намѣтилъ въ одномъ изъ своихъ писемъ

къ А. Н. Плещееву, ограждая себя отъ всякихъ упрековъ въ тенденціозности, объясняя свое независимое отношеніе къ партіямъ, и въ особенности выдвигая положеніе: „Я ненавижу ложь и насиліе во всѣхъ ихъ видахъ“ [1])... Девизъ „свободнаго художника“, который онъ себѣ избралъ,—„свобода отъ силы и лжи“,—при неуклонномъ служеніи правдѣ, побуждалъ его искать этой правды, идя своимъ путемъ, но въ то же время подвергая себя строгой внутренней дисциплинѣ, умѣя сдерживать свое я, достигая наивозможной объективности въ наблюденіяхъ и въ творческой работѣ.

О взаимоотношеніяхъ и соотвѣтствіи свойствъ писателя и человѣка мы находимъ нѣсколько любопытныхъ указаній въ воспоминаніяхъ г.г. Бунина и Куприна [2]):

„Онъ удивительно умѣлъ владѣть собой и въ творчествѣ и въ жизни“,—пишетъ въ воспоминаніяхъ о Чеховѣ г. Бунинъ, добавляя при этомъ, что данное свойство отнюдь не исключало „рѣдкой душевной отзывчивости и пониманія всего съ малѣйшаго намека“.—Онъ рѣдко раздражался, а если и раздражался, то изумительно владѣлъ собой.—Но и холоднымъ я его не видѣлъ. Холоденъ онъ бывалъ, по его словамъ, только за работой, къ которой онъ приступалъ всегда уже послѣ того, какъ мысль и образы его будущаго произведенія становились ему совершенно ясны...

— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холоднымъ, какъ ледъ,—сказалъ онъ однажды.

„Холодность“ тутъ, очевидно въ смыслѣ умѣнья владѣть собой, внутренняго контроля [3]).

Все это результаты дисциплины, указанной требованіями объективности творчества. Сдержанность, искренность и обаятельная простота въ отношеніяхъ—всѣ эти свойства, о которыхъ пишетъ г. Бунинъ, и въ разныхъ выраженіяхъ ихъ наличность у Чехова подтверждаетъ большинство авторовъ воспоминаній о немъ, представляются вполнѣ естественными аттрибутами неуклоннаго культа правды.

---

[1]) См. ниже, Письма.

[2]) III сборникъ „Знанія“.

[3]) Въ связи съ этимъ замѣчаніемъ стоитъ сообщеніе А. И. Куприна о томъ, какъ Чеховъ училъ, чтобы писатель оставался равнодушнымъ къ радостямъ и огорченіямъ своихъ героевъ. Г. Купринъ приводитъ при этомъ изустный разсказа Чехова. „Въ одной хорошей повѣти я прочелъ описаніе приморскаго ресторана въ большомъ городѣ. И сразу видно, что автору въ диковинку и эта музыка, и электрическій свѣтъ и розы въ петлицахъ, и что онъ самъ любуется на нихъ. Такъ нехорошо. Нужно стоять внѣ этихъ вещей и хотя знать ихъ хорошо до мелочи, но глядѣть на нихъ какъ бы съ презрѣніемъ, сверху внизъ. И выйдетъ вѣрно“.

И не просто правды, къ которой стремятся многіе, а какъ указано „научно обоснованной правды"; среди художниковъ это уже рѣдкость.

Итакъ, творчество Чехова слагалось изъ двухъ элементовъ: оно было субъективнымъ по формѣ и объективнымъ по содержанію; оригинальное сочетаніе художественнаго темперамента съ научнымъ методомъ изслѣдованія явленія.

Ради второй цѣли Чеховъ никогда не выставлялъ впередъ своего *я*, такъ какъ правда должна быть одна для всѣхъ, а культъ *я* выдвигаетъ лишь субъективную правду. И это свойство проходило въ равной мѣрѣ черезъ жизнь и творчество Чехова. Вотъ нѣсколько вполнѣ вѣрныхъ замѣчаній по этому поводу у г. Бунина:

„Въ своихъ работахъ онъ почти никогда не говорилъ о себѣ, о своихъ взглядахъ, о своихъ вкусахъ, что и повело, кстати сказать, къ тому, что его долго считали человѣкомъ безпринципнымъ, необщественнымъ... Въ жизни онъ также никогда не носился со своимъ я; очень рѣдко говорилъ о своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ: „я люблю то то".. „я не выношу того то..." Это не чеховскія фразы... Но, прибавляетъ далѣе г. Бунинъ, симпатіи и антипатіи его были чрезвычайно устойчивы и опредѣленны, и среди его симпатій одно изъ первыхъ мѣстъ занимала именно естественность". Это,—замѣтимъ кстати,—довольно отвлеченная „симпатія". Какъ же указанныя свойства Чехова проявлялись въ его отношеніяхъ къ людямъ?

О широкой доступности Чехова, внимательности ко всѣмъ и каждому, терпѣливости въ выслушиваніи даже совсѣмъ не интересныхъ ему признаній—имѣется цѣлый рядъ указаній въ воспоминаніяхъ о немъ разныхъ авторовъ. Только М. Горькій привелъ нѣсколько анекдотовъ, въ стилѣ разсказа самаго Чехова,—о выведенномъ изъ себя редакторѣ журнала, который бросилъ пресъпанье въ черезъ чуръ назойливую посѣтительницу... Надо полагать, что самъ Чеховъ никогда не прибѣгалъ къ такимъ пріемамъ, даже состоя членомъ редакціи „Русской Мысли" въ послѣдніе годы своей жизни... Возможно, что и разсказы г. Горькаго о трехъ дамахъ, пріѣхавшихъ къ Чехову съ разпросами о войнѣ и закончившихъ спорами о мармеладѣ, посѣщеніе товарища прокурора, который, неожиданно для себя, долженъ былъ перейти съ выспренняго разговора о паказуемости преступниковъ на тему о грамофонахъ и любительской фотографіи [1]) изложены талантли-

[1]) Нижегородскій сборникъ

вымъ авторомъ въ нѣсколько „беллетристической“ окраскѣ. Во всякомъ случаѣ эти анекдоты стоятъ одиноко въ обширномъ матеріалѣ воспоминаній о Чеховѣ, свидѣтельствующихъ, наоборотъ, объ его изумительномъ терпѣніи и сдержанности въ отношеніи ко всякаго рода посѣтителямъ. Интересны по этому поводу слѣдующія замѣчанія г. Куприна, который приводитъ ихъ съ оговоркой, что они нѣсколько щекотливаго свойства, и можетъ быть, не всѣмъ понравятся:

«Я глубоко убѣжденъ, пишетъ г. Купринъ,—въ томъ, что Чеховъ съ одинаковымъ проникновеннымъ любопытствомъ разговаривалъ съ ученымъ и съ разносчикомъ, съ просящимъ на бѣдность и съ литераторомъ, съ крупнымъ земскимъ дѣятелемъ и съ сомнительнымъ монахомъ, и съ приказчикомъ и съ маленькимъ почтовымъ чиновникомъ, отсылавшимъ ему корреспонденціи. Не оттого ли у него въ разсказахъ профессоръ говоритъ и думаетъ именно какъ старый профессоръ, а бродяга, какъ истый бродяга? И не оттого ли у него тотчасъ же послѣ его смерти отыскалось такое множество «закадычныхъ» друзей, за которыхъ онъ, по ихъ словамъ, былъ готовъ въ огонь и даже въ воду?

«Думается, что онъ никому не раскрывалъ и не отдавалъ своего сердца вполнѣ (была впрочемъ легенда о какомъ то его близкомъ любимомъ другѣ, чиновникѣ изъ Таганрога). Но ко всѣмъ относился благодушно, безразлично въ смыслѣ дружбы (курсивъ нашъ Ѳ. Б.), и въ то же время съ большимъ, быть можетъ, безсознательнымъ интересомъ».

Дѣйствительно вопросъ, поставленный г. Купринымъ, кажется, на первый взглядъ изъ числа „щекотливыхъ“ для оцѣнки свойствъ человѣка. Является ли это равномѣрно-внимательное отношеніе къ людямъ, къ ближнимъ и дальнимъ, результатомъ только большой выдержки, духовной дисциплины, о которой мы говорили выше, или же оно служитъ показателемъ дѣйствительной холодности сердца, отсутствія настоящихъ привязанностей у человѣка? Возможно третье объясненіе. Намъ эта черта представляется въ связи съ особымъ міропониманіемъ; она не исключаетъ вполнѣ личнаго чувства, но противоположна культу личности, какъ таковой, тому личному началу, которое въ рѣзкой формулировкѣ приводитъ къ заявленію мольеровскаго Альцеста (въ „Мизантропѣ“): „всеобщій другъ не можетъ быть мнѣ другомъ!“ А Чеховъ повидимому старался быть, или казаться „всеобщимъ другомъ“: поэтому онъ, конечно, ни съ какой стороны не подходитъ къ типу Мизантропа. Не подходитъ онъ, вообще, къ аристократическому типу (и въ этомъ мы расходимся съ показаніями нѣкоторыхъ авторовъ воспоминаній о Чеховѣ) людей съ ярко выдвинутымъ началомъ личности. Вѣдь то отношеніе къ людямъ,

которое, мѣтко указанное въ Чеховѣ г. Купринымъ, какъ бы смутило самого наблюдателя, вполнѣ соотвѣтствуетъ характеристикѣ Толстымъ Платона Каратаева, въ его антитезѣ Пьеру Безухову: „привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ, но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ, не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами... Онъ любилъ свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ; но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, не смотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему (которою онъ невольно отдавалъ должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой съ нимъ. И Пьеръ тоже чувство начиналъ испытывать къ Каратаеву...“ Развѣ не было и у Чехова своихъ „шавокъ“, о которыхъ тотъ же г. Купринъ сохранилъ намъ столь живое и картинное описаніе (одну собаку звали „Тузикъ“, а другую „Каштанъ“... Антонъ Павловичъ не только нянчился съ ними, но и лечилъ. Былъ у него и ручной журавль... „Приходится повторять избитое мѣсто, пишетъ г. Купринъ въ этой главѣ объ отношеніи Чехова къ животнымъ и къ дѣтямъ,—но несомнѣнно, что тѣ и другіе инстинктивно тянулись къ Чехову“—потому что онъ самъ ихъ любилъ)? Развѣ не отплачивали ему за доброе отношеніе—„большой и сердечной любовью“ и всѣ люди, съ которыми онъ сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны,—опять-таки по свидѣтельству г. Куприна, который сообщаетъ трогательный разсказъ о носильщикѣ-татаринѣ, который пристыдилъ помощника капитана, ударившаго его въ присутствіи Чехова: „Ты думаешь, ты меня ударилъ? Ты вотъ кого ударилъ!“—и показываетъ пальцемъ на Чехова“... Были, конечно, и у Чехова товарищи и друзья, которыхъ онъ любилъ, были и сосѣди и почитатели, къ которымъ онъ относился съ неизмѣнной лаской.—Это не безразличіе въ дружбѣ и не холодность сердца, а тоже любовь, но особая, отрѣшенная отъ всякой идеи собственности, быть можетъ одна изъ высшихъ формъ проявленія любви, при отсутствіи всякаго посягательства на чужую независимость; это, если угодно, нѣсколько отвлеченное чувство, но оно устойчивѣе другихъ. Развѣ не звучитъ грустной правдой замѣчаніе Герцена, что—„все личное быстро осыпается, этому обнищанію надо покориться“.

Между тѣмъ, обобщенное широкое чувство любви ко всему міру не только не „осыпается“, но приводитъ къ той формѣ пантеизма,

которая несомнѣнно послужила основой и міросозерцанія Чехова, въ зрѣлый періодъ его дѣятельности, отчасти отразилась въ монологѣ міровой души въ „Чайкѣ“: „Во мнѣ душа и Александра Великаго, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и послѣдней пьявки. Во мнѣ сознанія людей слились съ инстинктами животныхъ, и я помню все, все, все, и каждую жизнь въ себѣ самой я переживаю вновь“. Эти строки—уже не пародія на „декадентскій жанръ“, а показатель дѣйствительныхъ стремленій и самого Чехова, который на самомъ дѣлѣ ставилъ себѣ задачей переживаніе чужихъ жизней въ себѣ самомъ, при чемъ ему равно дороги были и люди какого бы то ни было званія, и дѣти, и собака „Каштанка“, и въ концѣ концовъ даже цвѣты и растенія... [1]) Людей онъ конечно выдѣлялъ и относился къ нимъ прежде всего съ глубокой вѣрой. Достаточно припомнить „Разсказъ старшаго садовника“.

Итакъ, къ полубезсознательнымъ свойствамъ натуры Каратаева, у Чехова прибавилось лишь сознательно выработанное пантеистическое міропониманіе и несомнѣнная пытливость художника, который былъ въ то же время и изслѣдователемъ жизни, привычнымъ къ обращенію съ „научнымъ методомъ“—отсюда и его любовь ко всѣмъ и ко всему, при кажущемся безразличіи въ дружбѣ.

Чеховъ не выдѣлялъ себя и какъ писателя. Не только изъ скромности, но какъ бы по сознательному расчету, онъ ограничивалъ свое самолюбіе тѣмъ, чтобы стать р я д о в ы м ъ въ числѣ своихъ современниковъ, собратьевъ по перу, не возвышаясь надъ ними. „Авось всѣ вмѣстѣ что-нибудь да и напишемъ сообща“—говорилъ онъ Вл. А. Тиханову. Возвращаясь къ этой же мысли въ одномъ изъ писемъ къ автору воспоминаній, [2]) по поводу сообщеннаго имъ отзыва Н. П. Вагнера (Котъ Мурлыка), что онъ считаетъ Чехова—„величайшимъ русскимъ писателемъ, слономъ между всѣми ими“, Антонъ Павловичъ написалъ: „Я, вопреки Вагнеру, вѣрую въ то, что каждый изъ насъ въ отдѣльности не будетъ ни „слономъ среди насъ“ и никакимъ либо другимъ звѣремъ, и что мы можемъ взять усиліями цѣлаго поколѣнія,—не иначе. Всѣхъ насъ будутъ звать не Чеховъ, не Т., не К., не Щ., не Б., не В., а „восьмидесятые годы“, или „конецъ XIX столѣтія“. Нѣкоторымъ образомъ артель...“

Наперекоръ ожиданіямъ Антона Павловича, онъ самъ сталъ

---

[1]) По словамъ жены Чехова—Ольги Леонардовны Книперъ, Антонъ Павловичъ терпѣть не могъ, чтобы въ его присутствіи рвали, или срѣзали цвѣты.

[2]) «Міръ Божій» 1905 г., августъ.

для насъ теперь именно Чеховымъ, а не однимъ изъ многихъ на ряду съ перечисляемыми имъ именами, и менѣе всего просто „восьмидесятникомъ“. Этого „артельнаго человѣка“, стремящагося быть просто рядовымъ, онъ похоронилъ въ лицѣ „Иванова“, открывъ путь образованію новаго типа сознательнаго индивидуалиста въ слѣдующемъ поколѣніи. Его строгое сужденіе о себѣ самомъ вытекало отчасти отъ присущей ему скромности, [1]) но не исключительно ею обусловлено: Чеховъ шелъ съ другими, какъ звено въ общемъ движеніи; онъ сознавалъ себя однимъ изъ атомовъ въ безконечномъ міровомъ процессѣ, въ которомъ каждому свое мѣсто на ряду съ другими. Одна личность—ничто внѣ связи съ цѣлымъ. И движеніе впередъ человѣчества непрестанно. „Оно есть—писалъ намъ Чеховъ въ однимъ изъ своихъ писемъ за послѣдніе годы,— но невидимо для насъ, какъ движеніе земли вокругъ солнца“.

Мы отмѣтили нѣкоторыя черты духовнаго облика Чехова въ томъ періодѣ его жизни, когда онъ былъ не только вполнѣ сложившимся человѣкомъ, но уже пріобрѣлъ громкую славу писателя. Попробуемъ возстановить подмѣченныя въ немъ свойства авторами воспоминаній въ историко-біографической послѣдовательности.

По свидѣтельству его младшаго брата, Михаила Чехова, [2]) въ жизни Антона Павловича были три эпохи, которыя отразились на всемъ его творчествѣ. Онъ и самъ признавалъ это. Это были: поѣздки къ нѣкоему Ивану Парфентьевичу въ усадьбу и къ его племяннику Кравцову на дальній хуторъ въ донскихъ степяхъ, когда еще А. П. былъ гимназистомъ; затѣмъ—г. Воскресенскъ и усадьба Бабкино Московской губ., гдѣ А. П. провелъ четыре лѣта тотчасъ по окончаніи курса университета, и, наконецъ, Мелихово, гдѣ онъ былъ уже землевладѣльцемъ. О первой эпохѣ я не знаю ничего, кромѣ того развѣ, что А. П. разсказывалъ мнѣ самъ“. Къ отголоскамъ впечатлѣній этой первой эпохи М. П. относитъ разсказы—

---

[1]) Скромности и даже какой-то особой застѣнчивости. Любопытенъ въ этомъ отношеніи разсказъ г. Тиханова о томъ, какъ Чеховъ уговорился съ нимъ въ первый разъ ѣхать къ Л. Н. Толстому. За ними долженъ былъ заѣхать ихъ общій знакомый, но на Чехова вдругъ напала робость: «Самъ не знаю, а боюсь. Какъ это такъ, вдругъ с а м о г о Толстого вблизи увидать. Говорить съ нимъ! Нѣтъ, какъ хотите, а это жутко». Кончилось тѣмъ, что Чеховъ вмѣстѣ съ разсказчикомъ «просто сбѣжали отъ свиданія въ ресторанъ „Эрмитажъ“, гдѣ долго сидѣли, пили красное вино и говорили о томъ, что Левъ Толстой великій писатель, что онъ глубочайшій сердцевѣдъ, и какъ было бы пріятно посмотрѣть на него, послушать и т. д.“ Впослѣдствіи, какъ извѣстно, Антонъ Павловичъ побѣдилъ свою застѣнчивость и даже сблизился съ „великимъ писателемъ земли русской“, который и самъ о немъ отзывался съ наилучшей похвалой. Отмѣтимъ также разсказъ г. Ладыженскаго въ его воспоминаніяхъ объ А. П. („Міръ Божій“, 1905 г. апрѣля) о его первомъ посѣщеніи Я. П. Полонскаго.

[2]) „Журналъ для всѣхъ“. 1905 г.

„Степь“, „На пути“, „Жалобная книга“. Изъ поѣздки къ Кривцову А. П. запомнилъ почему-то „звукъ сорвавшейся бадьи, о которой упоминается въ „Счастьи“ и въ „Вишневомъ саду“. Во время пребыванія въ г. Воскресенскѣ и въ Мелиховѣ онъ пріобрѣлъ богатый запасъ наблюденій, которыя послужили темами для цѣлаго ряда разсказовъ.

Изъ ранней поры жизни Чехова мы имѣемъ, вообще, только показанія его школьнаго товарища, г. Сергѣенко [1]). Однако и г. Сергѣенко пишетъ, что при всемъ желаніи онъ не можетъ припомнить ни одного яркаго эпизода изъ отрочества Чехова.

«Отчетливо рисуется передо мной только бѣлая маска лица съ ухмыляющейся улыбкой (?). Еще помню, что всѣ, рѣшительно всѣ, относились къ Чехову хорошо, по товарищески. Онъ не былъ ни задирой, ни плаксой, ни тѣмъ, ни сѣмъ, что называется. И учился Чеховъ тоже такъ себѣ; и держался онъ не то, чтобы сосредоточенно, «съ печатью думы на челѣ», какъ подобало бы будущей знаменитости, а скорѣе полувяло, полузастѣнчиво съ той осмотрительностью въ поступкахъ, которая съ годами превратилась у него въ драгоцѣнный житейскій тактъ, привлекавшій къ Чехову людей и ограждавшій его отъ злобствующихъ недоброхотовъ».

Г. Сергѣенко отмѣчаетъ далѣе, что у Чехова никогда не было „своего Іуды“, ни въ юности, ни въ зрѣлыхъ годахъ, а свои Іуды, по его мнѣнію, есть почти у каждаго человѣка.

«Это тѣмъ болѣе достойно вниманія,—продолжаетъ г. Сергѣенко,—что Чеховъ не только никогда не подлаживался къ людямъ и не старался имъ угождать, а скорѣе былъ вялъ въ своихъ отношеніяхъ, не соблюдая даже тѣхъ общепринятыхъ смазочныхъ (?) пріемовъ, которыми поддерживаются знакомства. Въ этомъ отношеніи Чеховъ мало измѣнился съ дѣтства. И тогда онъ являлъ собою какъ бы нейтральную сторону, не проявляя замашекъ къ подчиненію себѣ другихъ, но и не растворяясь никогда всей своей личностью въ окружающихъ явленіяхъ. Но я не могу припомнить за долгій періодъ нашего знакомства ни одного такого момента, ни одного такого случая, когда Чеховъ поступилъ бы недостойно».

Нѣсколько далѣе и г. Сергѣенко отмѣчаетъ, что въ природѣ Чехова было нѣчто к а р а т а е в с к о е—„если и не вполнѣ круглое, то и безъ острыхъ выступовъ, за которые могла бы уцѣпиться какая нибудь страсть“.

Однако, въ вышеприведенной первой автобіографіи Чехова есть указаніе, что именно въ отроческомъ возрастѣ онъ подвергся нѣкоторымъ соблазнамъ нашей неупорядоченной, формально-закрѣпощенной, но по существу глубоко разлагающей школьной жизни, особенно въ провинціальныхъ гимназіяхъ, да еще въ 70-хъ го-

[1]) Приложеніе къ „Нивѣ“, 1904 г., октябрь.

По окончаніи гимназіи, въ 1879 г.

аренѣ „комедіи человѣчества“. Пока онъ копилъ силы, какъ богатырь, который до поры лишь удивляетъ своей неподвижностью и кажущейся апатіей.

Въ цвѣтущую пору его молодости въ немъ развернулась какая-то удаль и даже нѣкоторый задоръ. Вотъ какъ описываетъ впечатлѣніе первой встрѣчи съ нимъ Вл. Г. Короленко, [1]) познакомившійся съ Чеховымъ въ 1886 или въ началѣ 1887 года, т. е. когда Чехову было лѣтъ 26—27.

дахъ,—„авантюрамъ“, увлекшись которыми, онъ легко могъ растратить душевныя и физическія силы. Чеховъ уцѣлѣлъ на скользкомъ пути, гдѣ погибъ не одинъ юноша въ преждевременной, скороспѣлой растратѣ здоровья и притупленія нравственнаго чувства (припомнимъ разсказъ Чехова „Гимназистъ“), уцѣлѣлъ, отчасти, быть можетъ въ силу уравновѣшенности натуры, главнымъ образомъ — благодаря широтѣ кругозора таившагося въ немъ художника созерцателя, при безсознательномъ еще желаніи развернуть свои силы на болѣе широкой

На четвертомъ курсѣ университета, въ 1883 г.

[1]) „Русск. Бог.,“ 1904 г., іюль.

«Передо мною былъ молодой и еще болѣе моложавый на видъ человѣкъ, нѣсколько выше средняго роста, съ продолговатымъ правильнымъ и чистымъ лицомъ, не утратившимъ еще характерныхъ юношескихъ очертаній. Въ этомъ лицѣ было что-то своеобразное, что я не могъ опредѣлить сразу, и что впослѣдствіи, по моему очень мѣтко, опредѣлила одна женщина, при мнѣ познакомившаяся съ Чеховымъ. По ея мнѣнію въ лицѣ Чехова, не смотря на его несомнѣнную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушнаго деревенскаго парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокіе, свѣтились одновременно мыслью и какою-то особенною, почти дѣтской привлекательностью. Простота всѣхъ движеній, пріемовъ и рѣчи была господствующей чертой во всей его фигурѣ, какъ и въ его писаніяхъ. Вообще, въ это первое свиданіе Чеховъ произвелъ на меня впечатлѣніе человѣка глубоко жизнерадостнаго. Казалось, изъ глазъ его струится неисчерпаемый источникъ остроумія и непосрѣдственнаго веселья, которымъ были переполнены его разсказы. И вмѣстѣ угадывалось что то болѣе глубокое, чему еще предстоитъ развернуться и развернуться въ хорошую сторону».

Короленко, подчеркивая общее благопріятное впечатлѣніе этой встрѣчи, замѣчаетъ, что ему тогда понравилась даже чеховская „свобода отъ партій“, такъ какъ въ ту пору—„и въ воздухѣ чувствовалась необходимость нѣкотораго „пересмотра“, чтобы пуститься въ путь дальнѣйшей борьбы и дальнѣйшихъ исканій“. „И поэтому самая „свобода“ Чехова „отъ партій“ данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности, казались мнѣ тогда, признаюсь, нѣкоторымъ преимуществомъ. Все равно,—думалъ я,—это не надолго“... Короленко придавалъ особое значеніе разсказу Чехова „Встрѣча“, гдѣ выставленъ типъ—„неудовлетвореннаго, сильно избитаго жизнью, русскаго „искателя лучшаго“, поражаясь, какъ авторъ сумѣлъ „мимоходомъ, безъ опыта, какой-то отгадкой непосредственнаго таланта, такъ вѣрно и такъ мѣтко затронуть самыя интимныя струны этого, все еще не умершаго у насъ, долговѣчнаго рудинскаго типа“. Въ общемъ онъ сравниваетъ тогдашняго Чехова съ „молодымъ дубкомъ, пускающимъ ростки въ разныя стороны, еще коряво и порой какъ-то безформенно, но въ которомъ угадывается крѣпость и цѣльная красота будущаго могучаго роста“... Нѣсколько ниже г. Короленко, вспоминая чеховскую „Степь“, въ которой, какъ ему сообщилъ Михаилъ П. Чеховъ,—„очень много автобіографическихъ личныхъ воспоминаній“, сравниваетъ и самого Антона Павловича съ молодымъ крестьянскимъ парнемъ, Дениской, выставленнымъ въ разказѣ. Этотъ Дениска переполненъ ощущеніемъ бодрости и силы; не зная устали, онъ ищетъ лишь случая вступить съ кѣмъ либо въ соревнованіе, бѣжать

взапуски, изъявляетъ готовность проскакать намѣченное ристалище для бѣга обратно:

«Я какъ-то шутя сказалъ Чехову, что онъ самъ похожъ на своего Дениску,—пишетъ Вл. Г. Короленко.—И дѣйствительно въ самый разгаръ 80-хъ годовъ, когда общественная жизнь такъ похожа была на эту степь съ ея безмолвной истомой и тоскливой пѣснью, онъ явился беззаботный, веселый, съ избыткомъ бодрости и силы. То и дѣло у него неизвѣстно откуда являлись разные проекты и при томъ какъ-то сразу въ готовомъ видѣ, съ мелкими деталями... Однажды онъ сталъ развивать передо мною планъ журнала, въ которомъ будутъ участвовать беллетристы, числомъ 25, «и всѣ начинающіе, вообще молодые». Въ другой разъ, устремивъ на меня свои прекрасные глаза, съ выраженіемъ внезапно созрѣвающей мысли, онъ сказалъ: «Слушайте, Короленко, я пріѣду къ вамъ въ Нижній». «Буду очень радъ. Смотрите же не обманите». «Непремѣнно пріѣду... Будемъ вмѣстѣ работать. Напишемъ драму. Въ четырехъ дѣйствіяхъ. Въ двѣ недѣли». Я засмѣялся. Это опять былъ Дениска»...

Короленко намѣчаетъ три періода въ литературной дѣятельности Чехова, отъ первыхъ опытовъ въ юмористическомъ духѣ и „Пестрыхъ разсказовъ“, когда—„образы тѣснились къ нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но рѣдко волнуя,“—постепенный переходъ къ очеркамъ „Въ сумеркахъ“, „Хмурымъ людямъ“, „Палатѣ № 6“ и т. д., и, наконецъ,—„разсказы и, пожалуй, драмы послѣднихъ годовъ, въ которыхъ звучитъ и стремленіе къ лучшему, и вѣра въ него, и надежда. Черезъ дымку грусти, порой очень красивой, порой разъѣдающей и острой, и всегда поэтической, эта надежда сквозитъ, какъ куполы церквей дальняго города, едва видные сквозь знойную пыль и удушливый туманъ труднаго пути... И надъ всѣмъ царитъ меланхолическое сознаніе:

Жаль только, жить въ эту пору прекрасную
Ужъ не придется ни мнѣ, ни тебѣ...“

Взаимоотношеніе этихъ разныхъ періодовъ дѣятельности должно опредѣлиться устойчивостью нѣкоторыхъ основныхъ чертъ, которыя въ ранняго времени присущи таланту Чехова—оттого между ними не можетъ быть слишкомъ рѣзкихъ граней. Красивый, короленковскій образъ,—эти далекіе купола, проступающіе сквозь знойную пыль и туманъ труднаго пути,—требуетъ проясненія, на основаніи болѣе детальнаго анализа произведеній Чехова. „Купола“ не сразу, ex abrupto, явились передъ нимъ со стороны: онъ ихъ давно лелѣялъ въ душѣ, поэтому только они и стали ему видны... Но съ внѣшней стороны, дѣйствительно, въ его произведеніяхъ намѣчаются различные періоды творчества, параллельные различнымъ стадіямъ его личной жизни.

Въ 80-хъ и началѣ 90-хъ годовъ, въ возрастѣ отъ 25—35 лѣтъ, Чеховъ сотрудничаетъ, послѣ разныхъ юмористическихъ листковъ и газетъ, въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ и проявляетъ широкую общительность характера. Это весельчакъ и шутникъ, любимый товарищъ и собесѣдникъ за ужинами, готовый всегда откликнуться на приглашеніе провести вечеръ въ непринужденной компаніи, легко забывающій о „времени и пространствѣ“ въ товарищескомъ кругу. Цѣлый рядъ воспоминаній г.г. Тиханова, Щеглова, Сергѣенко и др. рисуетъ намъ Чехова въ сходныхъ чертахъ остроумнаго и веселаго сотоварища, любящаго шутки, мистификаціи и даже переодѣванія [1]), избирающаго себѣ и раздающаго пріятелямъ шуточныя прозвища и псевдонимы (ср. у г. Сергѣенко—записки Чехова за подписью, то Бокль, то Нетихоновъ и т. п.), импровизирующаго мимоходомъ, полушутя, сюжеты расказовъ, изъ которыхъ не всѣ были имъ даже потомъ записаны. Такъ, по крайней мѣрѣ, свидѣтельствуетъ г. Щегловъ, сообщившій, что много—„тонкихъ“ чеховскихъ сюжетовъ, и импровизированныхъ подъ наплывомъ извѣстнаго настроенія и затѣмъ безслѣдно таявшихъ въ разгарѣ дальнѣйшей бесѣды“—погибло. Г. Щегловъ приводитъ два-три примѣра изъ уцѣлѣвшихъ въ его памяти такихъ импровизацій. Въ это десятилѣтіе—1886 по 1897 г.—Чеховъ, какъ пишетъ г. Щегловъ, пережилъ наиболѣе счастливый періодъ своей жизни, сблизился со многими литераторами,—А. Н. Плещеевымъ, Д. В. Григоровичемъ, А. С. Суворинымъ, П. И. Чайковскимъ, Вс. М. Гаршинымъ, Вл. Г. Короленко и др.; но эти первые годы литературной славы промелькнули какъ-то „нелѣпо, неуловимо, точно сладкій майскій сонъ, промелькнули въ безоглядной сумасбродной суетѣ, оставивъ въ воспоминаніи какіе-то свѣтлые праздничные клочки“... Въ Москвѣ долгія, полунощныя бесѣды въ ресторанахъ; въ Петербургѣ—„то встрѣчаешь съ Антономъ Чеховымъ Новый Годъ у Суворинхъ,—пишетъ г. Щегловъ,—то справляешь вмѣстѣ „капустникъ“ у артиста Свободина, то присутствуешь на импровизированной въ честь Чехова литературно-музыкальной вечеринкѣ у старика Плещеева... Сегодня устраивается въ „Маломъ Ярославцѣ“ торжественная кулебяка въ день ангела Чехова, а спустя два дня самъ Чеховъ тащитъ меня на Васильевскій островъ

[1]) Г. Михаилъ П. Чеховъ сообщаетъ о томъ, какъ А. П. вмѣстѣ съ художникомъ Левитаномъ, съ которымъ онъ былъ въ близкихъ, дружескихъ отношеніяхъ забавлялись, нарядившись то въ бухарскіе халаты, то въ судейскіе мундиры и т. п., разыгрывали экспромптомъ сценки, приводившія въ восторгъ домочадцевъ Чехова.

Въ 1888 году. Снятъ въ Ѳеодосіи.

„на блины“ къ какому-то совершенно невѣдомому мнѣ хлѣбосольному помѣщику,—само собою разумѣется ярому поклоннику А. П...“ Авторъ воспоминаній замѣчаетъ, что ему теперь, издали, все это время—„представляется какой-то непрерывной вереницей радостныхъ тостовъ во славу русской литературы, въ лицѣ Антона Павловича, бывшаго повсюду почетнѣйшимъ застольнымъ гостемъ. Числа и мѣсяцы въ этой суматохѣ невольно спутываются“... [1]).

Не спутались мысли, не затемнилось художественное сознаніе въ этомъ хаосѣ праздничныхъ пированій у самого „виновника торжествъ“, который, даже живя среди самаго пестраго общества, расходуя силы на застольныя бесѣды, пріемъ безчисленныхъ посѣтителей, переговоры съ пріятелями и т. д., продолжалъ интенсивно работать и почти незамѣтно для окружающихъ, которымъ онъ представлялся все тѣмъ же веселымъ малымъ и дорогимъ сотрапезникомъ, измѣнилъ направленіе своего творчества. Онъ, дѣйствительно, все глубже сталъ вникать въ смыслъ явленій жизни; переходъ къ болѣе серьезнымъ видамъ литературы у него почти неуловимъ, и для многихъ, близко его знавшихъ, какъ-то непонятнымъ представляется, откуда взялся чеховскій пессимизмъ? Что въ немъ усилило черту изобличителя, сдѣлало его бытописателемъ „нытиковъ“ и „неврастениковъ“, почему авторъ какъ бы окуталъ флеромъ неизмѣнной грусти картины родной жизни, онъ, который умѣлъ такъ непринужденно, такъ заразительно смѣяться и находить вездѣ смѣшныя стороны?

Однако, прежде всего поставимъ вопросъ—былъ ли Чеховъ когда либо пессимистомъ по существу?

Между чеховскими „настроеніями“ у читателей Чехова и впечатлѣніями о немъ, какъ человѣкѣ, у лицъ, знавшихъ его, произошло какое-то раздвоеніе. Намъ лично, при анализѣ однихъ только произведеній Чехова, онъ никогда не представлялся дѣйствительнымъ пессимистомъ по своему міропониманію [2]). Рисуя часто безотрадныя картины дѣйствительности, сообщая нѣкоторымъ сценамъ лирически-грустное освѣщеніе, Чеховъ не былъ поэтомъ безнадежности, тоски или унынія: онъ изобличалъ неправды жизни, мастерски передавалъ настроеніе томящей скуки, расшатанной воли, надломленности и т. п., но нигдѣ не возводилъ въ принципъ

---

[1]) Приложенія къ „Нивѣ“ 1905 г., іюнь.

[2]) Подробнѣе по этому вопросу намъ приходилось уже высказываться въ статьѣ о Чеховѣ, помѣщенной въ «С.-Петерб. Вѣд.», 1903 г., № 26, и въ другихъ очеркахъ по поводу разныхъ его произведеній, въ «Мірѣ Бож.» за послѣдніе года.

безнадежность жизни, и переходъ къ просвѣтамъ въ будущемъ произошелъ настолько естественно, что мы можемъ читать любой изъ самыхъ безотрадныхъ очерковъ Чехова „второго періода“ его творчесгва, дополняя отъ себя тѣми перспективами, которыя онъ сталъ намѣчать въ произведеніяхъ послѣднихъ лѣтъ. Въ противорѣчіе съ собою онъ не впалъ, но самъ, по своей натурѣ и стремленіямъ, былъ дѣйствительно живой противоположностью выставленнымъ имъ типамъ. Г. Суворинъ приводитъ отрывокъ изъ письма Чехова отъ 1894 г. въ отвѣтъ на поставленный вопросъ.— „Что долженъ желать теперь русскій человѣкъ?“—„Вотъ мой отвѣтъ,—писалъ А. П.—желать. Ему нужны прежде всего желанія, темпераментъ. Надоѣло кисляйство“.

Тѣмъ не менѣе, за нимъ установилась одно время репутація писателя пессимиста, по преимуществу. Онъ самъ, въ бесѣдѣ съ г. Буниным, не безъ грустной иронiи замѣтилъ по поводу появляющихся о немъ статей и рецензій: „Покорно васъ благодарю. Напишутъ о комъ нибудь тысячу строкъ, а внизу прибавятъ: „а то еще есть писатель Чеховъ: „нытикъ“.

Конечно, ничего нѣтъ несправедливѣе такой квалификаціи. И вотъ теперь многіе изъ авторовъ воспоминаній энергично протестуютъ противъ сложившейся за нимъ репутаціи. И замѣтимъ, по преимуществу молодые писатели. Особенно горячо протестуетъ г. А. Ѳедоровъ [1]). Разсказавъ забавную сцену на пароходѣ, въ присутствіи Чехова, когда клоунъ Дуровъ переправлялъ свой звѣринецъ и особенно пришлось повозиться съ верблюдомъ, чтобы ввести его на пароходъ, причемъ этотъ верблюдъ необычайно заинтересовалъ Антона Павловича, г. Федоровъ замѣчаетъ:

«Онъ (т. е. Чеховъ) ко всему присматривался съ тонкимъ вниманіемъ, всюду замѣчалъ свои особенности, свою душу. Его таланта хватало на все и на всѣхъ, потому что онъ каждымъ нервомъ своимъ чувствовалъ окружающую его жизнь, проникалъ и любилъ ее.

Чеховъ—пессимистъ!

Нѣтъ, даже его смертельная болѣзнь не могла сдѣлать его пессимистомъ. Наоборотъ, чѣмъ ближе онъ подходилъ къ могилѣ, тѣмъ глубже, чище и возвышеннѣе звучала въ немъ вѣра въ людей и въ свѣтлое будущее. Что-то пророческое и торжественное слышалось въ его голосѣ сквозь печаль и сумракъ жизни, которую онъ заставлялъ какъ бы исповѣдываться передъ нами въ живыхъ творческихъ созданіяхъ. Иногда этотъ страдальческій голосъ возвышался до величаваго пафоса и тогда звучалъ

[1]) „Южныя Записки“, 1904.

красотой неземного очарованія, отъ которой изъ души рвались невольныя благодарныя слезы этому великому и еще мало понятому и оцѣненному у насъ поэту правды, печали и вѣры...

Скорбь—не пессимизмъ. Скорбь—родная сестра вѣры для того, кто постига-тъ все несовершенство жизни, весь стихійный ужасъ ея, передъ которымъ мы часто оказываемся жалкими и безсильными. Только благороднѣйшимъ душамъ свойственна такая скорбь» и т. д.

И никто изъ близко знавшихъ А. П. не называлъ и не называетъ его пессимистомъ, и пора бы оставить совсѣмъ эту легенду, которой далъ ложный поводъ грустный тонъ нѣкоторыхъ произведеній Чехова. Вѣдь и выставляя нытиковъ и неврастениковъ, самъ онъ неизмѣнно смотрѣлъ на нихъ лишь какъ на случайное, переходное явленіе въ жизни, и старался выяснить ихъ временныя роль и значеніе въ эволюціи общества (ср. „Дневникъ неизвѣстнаго человѣка“). Онъ ихъ описывалъ, потому что они были въ жизни, потому что его литературная дѣятельность совпала съ выступленіемъ даннаго типа въ обществѣ.

Мнѣ кажется, что и связь между различными періодами литературной дѣятельности Чехова, и выводъ изъ сопоставленія впечатлѣній личности и произведеній писателя, и правильный взглядъ на все его творчество получатся въ томъ случаѣ, если мы повѣримъ — и мы должны это сдѣлать—собственному признанію Чехова въ одномъ изъ его писемъ къ А. Н. Плещееву и примемъ его слова за базу его дѣйствительнаго міросозерцанія. Письмо не датировано. Но вѣдь Плещеевъ умеръ въ 1893 году, слѣдовательно оно было написано въ концѣ 80-хъ или въ самомъ началѣ 90-хъ годовъ. „Мое святая святыхъ, писалъ Чеховъ, это человѣческое тѣло, здоровье, умъ, талантъ, вдохновенье. любовь и абсолютнѣйшая свобода, свобода отъ силы и лжи, въ чемъ бы послѣднія двѣ ни выражались“. Развѣ возможно было бы такое признаніе въ устахъ пессимиста?

Чеховъ остался до конца вѣренъ этому идеалу свободнаго человѣка, съ болью воспринималъ всѣ отклоненія отъ идеальной нормы, которую онъ въ себѣ чувствовалъ, потому что самъ смолоду былъ надѣленъ—здоровьемъ, умомъ, талантомъ, вдохновеніемъ, воспріимчивостью къ любви и чувствомъ независимости. Этотъ образъ получается и изъ ряда воспоминаній о Чеховѣ, дополняя и проясняя намъ дѣятельность писателя, помогая встать на надлежащую точку зрѣнія для общаго сужденія о ней; правильное пониманіе его труда въ цѣломъ не должно быть заслоняемо впечатлѣніями отдѣльныхъ моментовъ его творчества—юмориста, меланхолика, провозвѣстника свѣтлаго будущаго и т. п.

Общее настроеніе его опредѣляется, между прочимъ, и изъ слѣдующаго характернаго признанія:

«Во мнѣ течетъ мужицкая кровь и меня не удивишь мужицкими добродѣтелями. Я съ дѣтства увѣровалъ въ прогрессъ и не могъ не увѣровать, такъ какъ разница между временемъ, когда меня драли, и временемъ когда перестали драть, была страшная. Я любилъ умныхъ людей, нервность, вѣжливость, остроуміе, а къ тому, что люди ковыряли мозоли и что ихъ портянки издавали удушливый запахъ, я относился такъ же безразлично, какъ къ тому, что барышни ходятъ по утрамъ въ папильоткахъ. Но толстовская философія сильно трогала меня, владѣла мною лѣтъ 6 – 7,—и дѣйствовали на меня не основныя положенія, которыя были мнѣ извѣстны и раньше, а толстовская манера выражаться, разсудительность и, вѣроятно, гипнотизмъ своего рода. Теперь же во мнѣ что то протестуетъ; разсчетливость и справедливость говорятъ мнѣ, что въ электричествѣ и парѣ любви къ человѣку больше, чѣмъ въ цѣломудріи и въ воздержаніи отъ мяса» [1]).

Конечно, болѣзнь Чехова не осталась безъ нѣкотораго вліянія на его настроеніе [2]); но развѣ не характерно, что именно въ послѣдніе годы его жизни, когда роковой исходъ болѣзни представлялся во всей его безжалостной неизбѣжности, свѣтлыя пятна живѣе замелькали на его хмурыхъ ландшафтахъ, и онъ снова заговорилъ о радостяхъ жизни—будущей, пока еще далекой, но неминуемо имѣющей наступить.

Итакъ, всѣ свѣдѣнія о Чеховѣ, какъ человѣкѣ, въ которомъ даже болѣзнь не могла заглушить духовной свѣжести и неистощимаго остроумія, вполнѣ разсѣиваютъ представленіе о немъ, какъ о пессимистѣ. Чеховская грусть—это сожалѣніе о разладѣ между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что можетъ и должно быть. Чеховское „настроеніе“—во второй половинѣ его сознательной жизни, это—скорбь человѣка, который вступилъ въ жизнь съ радужными надеждами, потомъ утратилъ нѣкоторыя иллюзіи, но пришелъ къ окончательной вѣрѣ въ наступленіе лучшаго будущаго и сохранилъ до конца культъ свободы духа, какъ лучшаго изъ благъ, и неотъемлемое право человѣка [3]).

---

[1]) Изъ писемъ А. С. Суворину, «Нов. Вр.» см. н.

[2]) М. П. Чеховъ пытается связать переходъ къ «грустнымъ» темамъ въ творчествѣ А. П. съ первымъ приступомъ его болѣзни, зачатки которой онъ относитъ еще къ 1887 г. Онъ указываетъ на разсказъ «Панихиды», относящійся примѣрно къ этому времени, какъ на первое произведеніе, въ которомъ стала звучать грустная нотка. Эта внѣшняя дата любопытна, но надо остерегаться придавать слишкомъ много значенія показной сторонѣ дѣла.

[3]) Въ разрѣзъ съ жизнерадостнымъ настроеніемъ Чехова идетъ одна только его особенность, на которую указываютъ многіе знавшіе его: Антонъ Павловичъ любилъ посѣщать кладбища и подолгу бродить среди могилъ, одиноко, читая надписи на крестахъ и памятникахъ и т. п. Когда онъ какъ-то пріѣхалъ въ Пермь и почти сряду по пріѣздѣ отправился на кладбище, это сперва объясняли тѣмъ, что у него тамъ

Свобода духа—первоначально казалась Чехову, какъ и многимъ другимъ—возможной при всякихъ условіяхъ. Она прежде всего есть плодъ ввутренней работы надъ собою. Однако, почему же такъ мало людей доходятъ до нея, почему, въ концѣ концовъ, ея полное тор жество представляется недостижимымъ при современныхъ условіяхъ жизни, и люди изнываютъ въ какомъ то повальномъ рабствѣ, ненавидятъ другъ друга, тоскуютъ, проявляютъ чрезвычайную жестокость, губятъ себя и другихъ и т. д.? Чеховъ въ началѣ своей дѣятельности отстранялъ отъ себя соціальные вопросы, опасаясь „партійнаго гнета“. Онъ не интересовался политикой, пока не дошелъ самъ до признанія, что нельзя миновать эти вопросы общественнаго устроенія, такъ какъ личное благополучіе каждаго и даже степень его духовнаго развитія связаны съ ними по необходимости. Короленко вѣрно угадалъ еще въ 1887 году, что внѣ-партійность Чехова—не надолго... Быть можетъ, именно пребываніе въ Мелиховѣ и ближайшее знакомство съ условіями жизни въ деревнѣ произвели въ Чеховѣ окончательный переворотъ въ этомъ смыслѣ: онъ самъ могъ ужаснуться той картины грубости, невѣжества и одичанія, въ которой представились ему имъ же описанные „Мужики“. А гдѣ причина этого потрясающаго явленія въ нашей деревнѣ? Кто повиненъ и въ томъ направленіи, въ которомъ развилось у насъ мелкое кулачество („Въ оврагѣ“)? Въ какой мѣрѣ режимъ ложится тяжелымъ гнетомъ на всю духовную жизнь страны?.. Чеховъ понялъ значеніе среды и обстановки и сталъ интересоваться политикой и экономическими вопросами. И этого было достаточно, чтобы съ присущей ему прямотой и искренностью, съ его культомъ правды—онъ отвернулся отъ тѣхъ изданій, въ которыхъ раньше участвовалъ, какъ писатель, стоящій „внѣ партій“, и примкнулъ къ прогрессивнымъ группамъ.

Въ письмахъ Чехова болѣе ранняго періода встрѣчаются не разъ болѣе или менѣе рѣзкія выходки противъ „толстыхъ журналовъ“, противъ партійности нашей публицистики и публицистической критики. Ему приписываютъ еще болѣе суровые отзывы о томъ или другомъ представителѣ нашей журналистики 80-хъ и даже 90-хъ годовъ, при чемъ точность передачи словъ Чехова остается,

---

схороненъ близкій человѣкъ. Почитатели Чехова, съ особымъ вниманіемъ слѣдившіе за дорогимъ, знаменитымъ гостемъ, предполагали даже старинный романъ, причемъ пермскіе обыватели терялись въ догадкахъ—кто могла быть счастливицей, покорившей сердце поэта? Потомъ узналось, что Чеховъ поступалъ также во всѣхъ городахъ, куда бы онъ не пріѣзжалъ, отправляясь въ одиночную прогулку на кладбище. Легенда о раннемъ романѣ съ пермячкой разсѣялась...

конечно, на отвѣтственности авторовъ воспоминаній. Въ противоположность отрицательнымъ отзывамъ о журналахъ—есть и сочувственные. Въ печатаемомъ ниже письмѣ къ Плещееву, напримѣръ, Чеховъ указываетъ, что „судьбою ихъ заинтересована вся читающая и мыслящая масса. Ихъ поэтому всячески надо оберегать отъ разрушенія—въ этомъ прямая наша обязанность". Выступивъ еще съ 1887 г. сотрудникомъ „Сѣверн. Вѣстника", Чеховъ не только печаталъ свои лучшія вещи въ толстыхъ журналахъ, но живо интересовался ихъ „направленіемъ", и закончилъ свою дѣятельность даже членомъ редакціи „Русской Мысли". Въ немъ произошелъ переломъ, но опять-таки здѣсь нѣтъ прямого противорѣчія съ первоначальными требованіями свободной программы для художественнаго творчества. И вотъ почему.

Чеховъ былъ вполнѣ правъ, возражая противъ „кружковой, партійной скуки" въ нашихъ журналахъ 80-хъ годовъ, которая служила тормазомъ „свободѣ и широкому размаху" творческой мысли. Онъ не правъ былъ лишь въ исторической оцѣнкѣ явленія. Партійность въ журналахъ являлась у насъ вынужденной, за отсутствіемъ другихъ формъ, въ которыхъ бы могла выражаться общественная политическая мысль. Ея гнетъ на область искусства и даже науки, по скольку популяризація знанія входила въ программу общихъ журналовъ, незаконенъ. Партійность умѣстна только въ политикѣ, и здѣсь она не только вполнѣ законна, но и необходима. А такъ какъ при бюрократическомъ режимѣ у насъ изгонялся малѣйшій намекъ на политическую свободу, то отраженнымъ гнетомъ сверху на публицистику этотъ режимъ вгонялъ въ узкія рамки и всю нашу журнальную литературу, придавая ей односторонній партійный характеръ. Чеховъ, ощущая лишь неудобства того хомута, который былъ надѣтъ на журналистику, не сразу догадался, что виноватъ не столько хомутъ самъ по себѣ, какъ тѣ, кто подъ него подвели литературу. Онъ скинулъ съ себя ярмо, чтобы стать свободнымъ художникомъ, а затѣмъ самъ добровольно впрягся въ ту колесницу, которая должна была вести русское общество къ общему освобожденію отъ всякаго насилія и всякой лжи и тиранніи.

Едва ли не первое замѣчаніе, которое мнѣ пришлось отъ него услышать при личномъ свиданіи (въ 1902 г.) было категорическое заявленіе, что вскорѣ у насъ будетъ конституція. „Это вѣрно,—добавилъ онъ,—какъ послѣ вторника среда". А. И. Купринъ сообщаетъ, что это было у него излюбленной фразой, которую онъ

даже приводилъ иногда не въ тактъ разговору. Вдругъ скажетъ своимъ увѣреннымъ голосомъ:

— Послушайте, а знаете что? Вѣдь въ Россіи черезъ десять лѣтъ будетъ конституція.

Такая „реальная“ политика уже была чѣмъ то отличнымъ отъ смутныхъ мечтаній о благополучіи для человѣчества, которое можетъ наступить черезъ 200—300 лѣтъ. Правда, и по поводу конституціи Чеховъ не измѣнялъ своей привычки къ шуткамъ, и г. Ладыженскій приводитъ разсказъ Чехова о маленькомъ прудѣ, который былъ у него въ Мелиховѣ, „что у него тамъ караси, но что онъ намѣренъ дать имъ конституцію“... [1]) Хотя и интересуясь политикой (во время пребыванія во Франціи онъ съ особенной страстностью слѣдилъ за дѣломъ Дрейфуса, см. письма), Чеховъ, конечно, отнюдь не сталъ политическимъ мыслителемъ: это „самоочевидная истина“. Къ построеніямъ теоретическаго характера онъ, вообще, относился довольно холодно, что не мѣшало ему понимать ихъ значеніе. Но мыслить самъ онъ пріучился лишь въ образной формѣ, какъ истый художникъ. Это, конечно, особый видъ мышленія, который вполнѣ оправдываетъ и за Чеховымъ эпитетъ „мыслителя“, ибо, какъ совершенно правильно было кѣмъ то замѣчено, въ иномъ разсказѣ Чехова больше философіи, чѣмъ во многихъ пространныхъ разсужденіяхъ на выспреннія темы. Центральное мѣсто въ его міропониманіи занимала человѣческая личность, въ ея разнообразнѣйшихъ конкретныхъ воплощеніяхъ, съ ея многоразличными свойствами, психическими навыками, ощущеніями, воспріятіями, мыслями и поступками, по провѣркѣ съ высшими нормами добра и справедливости. Чеховъ не далъ логической формулы этихъ нормъ; онъ признавалъ даже, что „норма никому изъ насъ неизвѣстна“ въ положительныхъ ея чертахъ, но мы ее ощущаемъ какъ бы отрицательнымъ путемъ по отклоненіямъ отъ нея, подобно тому, какъ „знаемъ, что такое безчестный поступокъ“, хотя бы и не могли дать опредѣленія чести [2]). Тоже и по отношенію къ общественному устроенію; онъ самъ опредѣлялъ свою задачу, какъ художника—правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, прибавляетъ Чеховъ,—этимъ уже вступая въ область философіи,—насколько эта жизнь уклоняется отъ нормы. Въ чемъ выражаются „уклоненія“—онъ хорошо зналъ и тонко чувствовалъ.

---

[1]) «Міръ Божій» 1905.
[2]) См. изъ писемъ къ Плещееву.

О своемъ отношеніи къ религіи Чеховъ упоминаетъ лишь вскользь въ одномъ изъ писемъ къ Ив. Л. Щеглову [1]). Вопросы міросозданія, повидимому, не такъ его тревожили [2]), и его творческая мысль работала по преимуществу въ двухъ вышеуказанныхъ направленіяхъ—изученія человѣка и условій общественной жизни. Онъ не открывалъ новыхъ законовъ нравственности и въ большинствѣ случаевъ приходилъ къ давно признаннымъ положеніямъ этики, напримѣръ, что надо быть милосерднымъ, справедливымъ, творить добро, любить и уважать человѣка („каждаго!—а это важно"), вѣрить въ него и т. д. Въ этомъ отношеніи Чеховъ можетъ быть названъ моралистомъ, по особому тяготѣнію, которое въ немъ усматривается, къ рѣшенію нравственныхъ проблемъ, и потому, что онъ признавалъ, что люди, имѣющіе въ себѣ талантъ—„призваны воспитывающе вліять". Если выводы его не представлялись новыми сами по себѣ, то всегда неожиданнымъ оказывается путь, по которому онъ насъ приводитъ къ нимъ, и высоко оригинальной форма, въ которую художникъ умѣлъ облечь свои наблюденія жизни.

Стремленіе къ самоусовершенствованію было ему присуще, какъ личное свойство, и въ этомъ отношеніи особый интересъ представляетъ одно изъ его писемъ къ брату, гдѣ онъ намѣчаетъ—мѣстам и въ полу-шутливой, мѣстами же въ вполнѣ серьезной, прочувствован-

---

[1]) См. н.

[2]) Г. Меньшиковъ приводитъ слѣдующія слова Чехова, сказанныя имъ какъ-то въ разговорѣ: «Я не знаю, что такое вѣчность, безконечность, я себѣ объ этомъ ничего не представляю, ровно ничего. Жизнь за гробомъ для меня что-то застывшее, холодное, нѣмое. Ничего не знаю. «Н. Вр.» 04, 11 іюня.

Статья эта была уже набрана и сверстана, когда вышла книга г. Мережковскаго „Грядущій Хамъ", со статьей о Чеховѣ, гдѣ приведены два очень интересныхъ письма А. П. къ г. Дягилеву именно объ его отношеніи къ религіознымъ вопросамъ. „Я давно растерялъ мою вѣру и только съ недоумѣніемъ поглядываю на всякаго интеллигентнаго вѣрующаго", писалъ А. П. въ одномъ изъ этихъ писемъ (отъ 12 іюля 1903). Въ другомъ, болѣе раннемъ письмѣ (отъ 30 декабря 1902 г.) онъ высказываетъ свое недовѣріе къ религіознымъ движеніямъ въ интеллигенціи: „религіозное движеніе само по себѣ, а вся современная культура—сама по себѣ, и ставить вторую въ причинную зависимость отъ первой никакъ нельзя. Теперешняя культура это—начало работы во имя великаго будущаго, работа, которая будетъ продолжаться, быть можетъ, десятки тысячъ лѣтъ для того, чтобы хотя въ далекомъ будущемъ человѣчество познало истину настоящаго Бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы въ Достоевскомъ, а познало ясно, какъ познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура это—начало работы, а религіозное движеніе, о которомъ мы говорили,—есть пережитокъ, уже почти конецъ того, что отжило, или отживаетъ".

Эти строки краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о безграничной вѣрѣ Чехова въ силу знанія, въ безграничность науки, и иной религіи, иного „настоящаго Бога" кромѣ того, который представится непредубѣжденному разуму, обогащенному знаніемъ, онъ себѣ не мыслилъ.

ной формѣ, носящей отпечатокъ личныхъ признаній,—чѣмъ долженъ быть „воспитанный человѣкъ“, и въ особенности—человѣкъ, надѣленный „истиннымъ талантомъ“. Чеховъ заканчивалъ свои замѣчанія сентенціей, въ которой опять-таки легкій покровъ шутки стыдливо прикрываетъ искренность непосредственнаго признанія: „Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, въ которую попалъ, не достаточно прочесть только „Пикквика“ и вызубрить монологъ изъ „Фауста...“ Тутъ нужны безпрерывный дневной и ночной трудъ, вѣчное чтеніе, штудировка, воля... Тутъ дорогъ каждый часъ“.

Чеховъ, дѣйствительно, умѣлъ дорожить „каждымъ часомъ“. Онъ, повидимому, работалъ и надъ собою непрестанно, и его мысль находилась въ постоянномъ возбужденіи. Г. Тихоновъ, разсказывая о бесѣдѣ, которую онъ какъ-то велъ съ А. П. Чеховымъ, въ присутствіи трехъ его братьевъ, Николая, Ивана и Михаила Павловичей, замѣчаетъ:

«...во время этой общей бесѣды, я подмѣтилъ въ Чеховѣ одну характерную черту, это то, что онъ всегда (курс. подл.) думалъ, всегда, всякую минуту, всякую секунду. Слушая веселый разсказъ, самъ разсказывая что нибудь, сидя въ пріятельской пирушкѣ, говоря съ женщиной, играя съ собакой,—Чеховъ всегда думалъ. Благодаря этому, онъ иногда самъ обрывался на полсловѣ, задавалъ вамъ кажется совсѣмъ неподходящій вопросъ и казался иногда даже разсѣяннымъ. Благодаря этому, онъ среди разговора присаживался къ столу и что-то писалъ на своихъ листкахъ почтовой бумаги; благодаря этому, стоя лицомъ къ лицу съ вами, онъ вдругъ начиналъ смотрѣть куда-то вглубь самого себя».

А. И. Купринъ высказываетъ однородныя замѣчанія по поводу постоянной работы мысли Чехова—„съ утра и до вечера, а можетъ быть, даже и ночью, во снѣ и безсонницѣ“ [1]).

Онъ умѣлъ слушать и разговаривать, какъ никто, но часто, среди живого разговора, можно было замѣтить, какъ его внимательный и доброжелательный взглядъ вдругъ дѣлался неподвижнымъ и глубокимъ, точно уходилъ куда-то внутрь, созерцая нѣчто таинственное и важное, совершавшееся въ его душѣ. Тогда-то А. П. и дѣлалъ свои странные, поражавшіе неожиданностью, совсѣмъ не идущіе къ разговору вопросы, которые смущали многихъ. Только что говорили и еще продолжаютъ говорить о неомарксистахъ, а онъ вдругъ спрашиваетъ: «послушайте, вы никогда не были на конскомъ заводѣ? Непремѣнно поѣзжайте. Это интересно». Или вторично предлагаетъ вопросъ, на который только-что получилъ отвѣтъ».

Это—внѣшніе признаки процессовъ внутренней жизни „особня-

---

[1]) По поводу „сновъ“ Чеховъ см. н. отрывокъ изъ письма Григоровичу. Михаилъ П. Чеховъ сообщаетъ, что А. П. впервые во снѣ пригрезился и „черный монахъ“, послужившій потомъ темой для разсказа того же названія.

комъ“ отъ постороннихъ или даже близкихъ людей, раздвоеніе художника-мыслителя и человѣка, всецѣло принадлежащаго обстоятельствамъ минуты. Однако, г. Купринъ нѣсколько раньше признаетъ, что „мы почти ничего не знаемъ не только о тайнахъ его творчества, но даже о внѣшнихъ пріемахъ его работы. Въ этомъ отношеніи А. П. былъ до страннаго скрытенъ и молчаливъ“.

Источники его образовъ и происхожденіе сюжетовъ раскроетъ, быть можетъ, со временемъ научная критика: кое-какія указанія имѣются и теперь (г. Купринъ приводитъ случаи, когда чеховскія „словечки и эти изумительныя по своей сжатости и мѣткости черточки“ А. П. бралъ непосредственно изъ жизни). Но, въ общемъ, дѣйствительно, намъ приходится довольствоваться скудными сообщеніями, вродѣ приведенныхъ замѣчаній о томъ, что „нужно садиться писать тогда, когда чувствуешь себя холоднымъ“ и т. д. Установлено также, что въ болѣе раннемъ періодѣ своей литературной дѣятельности, онъ писалъ быстро и почти не задумываясь, а позже тщательно вырабатывалъ свои произведенія, подвергая ихъ многимъ передѣлкамъ.

— Знаете, какъ я пишу свои маленькіе разсказы?—передаетъ Короленко свой разговоръ съ Чеховымъ въ 1887 году. Вотъ.

Онъ оглянулъ столъ, взялъ въ руки первую попавшуюся на глаза вещь—это оказалась пепельница—поставилъ ее передо мною и сказалъ:

— Хотите, завтра будетъ разсказъ. Заглавіе «Пепельница».

И глаза его засвѣтились весельемъ. Казалось, надъ пепельницей начинаютъ уже роиться какіе-то неопредѣленные образы, положенія, приключенія, еще не нашедшія своихъ формъ, но уже съ готовымъ юмористическимъ настроеніемъ [1])...

Со временемъ, онъ значительно измѣнилъ пріемы творчества и отношеніе къ литературѣ. Онъ подолгу „вынашивалъ“ сюжеты раньше, чѣмъ изложить ихъ въ литературной формѣ; затѣмъ въ корректурѣ еще исправлялъ [2]). Особенно долго отдѣлывалъ онъ свои драматическія произведенія, предъявляя къ нимъ самыя строгія требованія: но въ этой области онъ выступалъ сознательнымъ реформаторомъ. Пьесы его выходили не разъ подъ измѣненными заглавіями и съ весьма существенными передѣлками.

Сообщаемыя разными авторами воспоминаній свѣдѣнія и замѣчанія по поводу того или другого произведенія Чехова или генезиса сюжета [3]), или отношенія автора къ своей темѣ, и къ избранному

---

[1]) „Русск. Бог.“. Г. Суворинъ передаетъ со словъ Чехова, что одинъ изъ своихъ разсказовъ А. П. написалъ въ купальнѣ, лежа на полу, карандашемъ, положилъ въ конвертъ и бросилъ въ почтовый ящикъ („Нов. Вр.“, 1904, 4 іюня).

[2]) Ср. и. письма.

[3]) Такъ, напр., о Черномъ Монахѣ см. у Мих. Чехова и у Ив. Щеглова и др.

виду литературы должны быть использованы при анализѣ продуктовъ его творчества, такъ что здѣсь мы на нихъ не останавливаемся. Общими мѣстами представляются въ воспоминаніяхъ замѣчанія о чрезвычайной наблюдательности А. П., его необыкновенной художественной памяти даже на звуки и запахи (внѣшней, механической памятью Чеховъ, по словамъ А. И. Куприна, не отличался), его воспріимчивости и находчивости и т. д. Безъ этихъ качествъ онъ, конечно, не былъ бы тѣмъ первоклассным художникомъ, какимъ мы его знаемъ по его произведеніямъ.

Сходятся, какъ уже было указано, всѣ авторы воспоминаній и въ оцѣнкѣ моральныхъ качествъ Чехова. Въ сонмѣ посмертныхъ похвалъ доброму, чуткому, безконечно внимательному и участливому большому писателю, который умѣлъ такъ просто и ласково обходиться съ каждымъ, обращающимся къ нему, былъ совершенно чуждъ всякаго чувства соревнованія и профессіональной ревности къ своимъ собратіямъ по дѣятельности, охотно давалъ указанія, „училъ“ младшихъ товарищей и т. д.—проступаетъ искреннее и глубокое чувство признательности многихъ памяти превосходнаго человѣка [1]). Его называютъ „золотымъ сердцемъ“, натурой въ высокой степени деликатной, но въ то же время по своему гордой и независимой, нѣсколько застѣнчивой и тяготящейся всякими внѣшними проявленіями преклоненія его дарованіямъ. До какой степени въ Чеховѣ доходили присущая ему деликатность и забота о другихъ на первомъ планѣ, можетъ иллюстрировать хотя бы слѣдующая подробность изъ одного его письма къ А. С. Суворину („Нов. Вр.“) по поводу случив-

[1]) Даже случайныхъ знакомыхъ и иностранцевъ. Отмѣтимъ кстати чрезвычайно тепло и прочувствованно написанный очеркъ памяти Чехова г-на Дениса Роша, французскаго переводчика его разсказовъ, въ „Revue des Études franco-russes“ 1904. Вотъ какъ описываетъ г. Рошъ свое послѣднее свиданіе съ Чеховымъ, въ Москвѣ: „Какое это тяжелое вышло свиданіе! Антонъ Павловичъ вышелъ ко мнѣ страшно худой, всѣ черты выдавали роковую болѣзнь, почти при каждой фразѣ онъ кашлялъ. И не смотря на все, сколько чего-то не выразимо-обаятельнаго было въ немъ! Съ какимъ добродушіемъ говорилъ онъ мнѣ о своихъ новыхъ планахъ, дѣлалъ мнѣ указанія, что слѣдовало мнѣ прочесть. Съ какой любовью говорилъ о русскомъ искусствѣ, которымъ я такъ интересовался и о своемъ другѣ Левитанѣ, съ которымъ онъ одно время жилъ вмѣстѣ и котораго очень высоко ставилъ, какъ художника, съ какой изысканной любезностью онъ указалъ мнѣ на нѣкоторыя необходимыя знакомства и непремѣнно хотѣлъ меня видѣть въ театрѣ на представленіи одной изъ его пьесъ. Я оставался у него самое короткое время, крайне удрученный положеніемъ, въ которомъ я его засталъ и внутренне страдая за минуты переутомленія, которыя я ему причинилъ. Но онъ былъ необыкновенно ласковъ до конца. Никогда не забуду его послѣдней фразы при прощаніи: „До свиданія... весной, въ Парижѣ!“ Сколько мужества, сколько теплой надежды звучало въ этой прощальной короткой фразѣ. Бѣдный Чеховъ!.. Какъ разъ когда смерть уже стояла на порогѣ, онъ мечталъ посѣтить Францію, которую онъ такъ любилъ; и вернуться въ Крымъ непремѣнно черезъ Марсель“...

шагося съ нимъ сердечнаго припадка въ Ялтѣ, весной 1894 г. Чеховъ описываетъ свои ощущенія во время приступа сердечной боли и затѣмъ прибавляетъ: „Быстро иду по террассѣ, на которой сидятъ гости, и одна мысль: какъ-то неловко падать и умирать при чужихъ".

Не близость смерти смутила Чехова: онъ думалъ только о непріятности, которую его смерть можетъ доставить гостямъ. Кажется, въ этомъ направленіи нельзя дальше уйти...

Внѣшній обликъ Чехова отличался какой-то неуловимостью. Ни одному изъ художниковъ, писавшихъ съ него портреты [1]), не удалось запечатлѣть его образъ такъ, чтобы онъ вполнѣ удовлетворилъ людей, близко знавшихъ Чехова или даже видѣвшихъ его нѣсколько разъ. Правда, его наружность, въ особенности отъ хода болѣзни за послѣдніе годы (а болѣлъ онъ, какъ оказывается, чуть что не 17 лѣтъ), не могла не измѣняться въ зависимости отъ состоянія его здоровья. Однако, г. Купринъ указываетъ, что, познакомившись съ Чеховымъ уже въ половинѣ 90-хъ годовъ, онъ не замѣтилъ въ немъ слѣдовъ болѣзни, „если не считать его походки—слабой и точно на немного согнутыхъ колѣняхъ".

Выше мы привели описаніе Вл. Г. Короленко впечатлѣнія, которое производилъ Чеховъ въ цвѣтущую пору его молодости. Г. Сергѣенко говоритъ, что ему въ особенности запомнилась улыбка Чехова: „почти постоянно скользящая улыбка на губахъ Чехова была наиболѣе яркой примѣтой его личности. И кто хотѣлъ бы написать хорошій портретъ Чехова, минуя его характерную улыбку, тотъ не написалъ бы хорошаго портрета Чехова". Это замѣчаніе можетъ быть не безполезно будущимъ художникамъ, которые пожелали бы возсоздать образъ Чехова по фотографіямъ и по описаніямъ его наружности въ статьяхъ, посвященныхъ его памяти. Вотъ какъ передаетъ его черты г. Купринъ, указавшій при этомъ на различіе впечатлѣнія первой минуты, когда запоминалась только общая фигура—„что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное — въ лицѣ, въ говорѣ и въ оборотахъ рѣчи... какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность въ манерахъ"—и затѣмъ, при ближайшемъ знакомствѣ, когда въ этомъ же человѣкѣ раскрывалось „самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человѣческое лицо, какое только мнѣ приходилось встрѣчать въ моей жизни".

---

[1]) Извѣстны три портрета Чехова въ масляныхъ краскахъ гг. Бакста, Кравченко и Нилуса, и рисунокъ карандашемъ г. Панова.

«Многіе впослѣдствіи говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до страннаго общая всѣмъ, знавшимъ его. Глаза у него были темные, почти каріе, причемъ радужка праваго глаза былъ окрашенъ значительно сильнѣе, что придавало взгляду А. П., при нѣкоторыхъ поворотахъ головы, выраженіе разсѣянности. Верхнія вѣки нѣсколько нависали надъ глазами, что такъ часто наблюдается у художниковъ, у охотниковъ, у моряковъ—словомъ у людей съ сосредоточеннымъ зрѣніемъ. Благодаря pince-nez и манерѣ глядѣть сквозь низъ его стеколъ, нѣсколько приподнявъ кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровымъ. Но надо было видѣть Чехова въ иныя минуты (увы, столь рѣдкія въ послѣдніе годы), когда имъ овладѣвало веселье, и когда онъ, быстрымъ движеніемъ руки сбрасывая pince-nez и покачиваясь взадъ и впередъ на креслѣ, разражался милымъ, искреннимъ и глубокимъ смѣхомъ. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, съ добрыми морщинками у наружныхъ угловъ, и весь онъ тогда напоминалъ тотъ юношескій извѣстный портретъ, гдѣ онъ изображенъ почти безбородымъ, съ улыбающимся, близорукимъ и наивнымъ взглядомъ нѣсколько исподлобья. И вотъ—удивительно—каждый разъ, когда я гляжу на этотъ снимокъ, я не могу отдѣлаться отъ мысли, что у Чехова глаза были дѣйствительно голубые.

Обращалъ вниманіе въ наружности А. П. его лобъ—широкій, бѣлый и чистый, прекрасной формы: лишь въ самое послѣднее время на немъ легли между бровями, у переносья, двѣ вертикальныя, задумчивыя складки. Уши у Чехова были большія, некрасивой формы, но другія, такія умныя, интелигентныя уши я видѣлъ еще лишь у одного человѣка—у Толстого.

Внѣшность Чехова детально описываетъ и г. Лазаревскій, замѣчающій при этомъ, что—„его наружность иногда мѣнялась въ зависимости отъ того, какъ была подстрижена его борода. Поэтому существуютъ его портреты какъ будто мало похожіе между собой“...

«Общее выраженіе его лица носило печать озабоченности. Когда онъ снималъ пенсне, видны были мелкія морщины вокругъ его серьезныхъ и добрыхъ глазъ. Глядя на собесѣдника, онъ щурился, и казалось иногда, что онъ относится безучастно къ его словамъ. Но потомъ Чеховъ вдругъ вскидывалъ голову, на высокомъ его лбу кожа чуть двигалась, а надъ носомъ ложились двѣ глубокія вертикальныя морщины, и онъ начиналъ говорить самъ, не спѣша, глухимъ баскомъ, избѣгая всякихъ терминовъ (?), гладко и замѣчательно просто... Сидя, Чеховъ почти всегда клалъ ногу на ногу и очень рѣдко жестикулировалъ руками; его крупные, удлиненные пальцы покойно лежали на обострившихся колѣняхъ. Славная у него была улыбка, тихая и немного застѣнчивая. Чтобы сдержать ее, онъ едва замѣтно пожуетъ губами и потомъ опуститъ голову».

Сводя различныя описанія наружности Чехова, независимо отъ разной степени художественности ея передачи тѣми или другими авторами воспоминаній, мы приходимъ къ выводу, что образъ

его какъ-то больше жилъ въ сердцахъ людей, его близко знавшихъ, чѣмъ запоминался въ рельефныхъ чертахъ устойчиваго, внѣшняго облика. Сохранилось общее впечатлѣніе, при чемъ хотя и проступаетъ порой одна какая нибудь запомнившаяся подробность, но въ ея опредѣленіи усматриваются колебанія, указывающія, что, конечно, суть не въ этихъ внѣшнихъ чертахъ. Главное вѣдь не въ цвѣтѣ глазъ, которыя казались однимъ голубыми, другимъ—темно-карими, не въ прическѣ и не въ формѣ подстриженной бородки и т. п. Если г. Куприну запомнились уши Чехова, то лишь по соотвѣтствію съ общимъ обликомъ, почему авторъ воспоминаній и назвалъ ихъ—„интеллигентными ушами“. Существенно то, что наружность, не только не бросающаяся въ глаза какими-нибудь рѣзкими особенностями, но даже какъ будто совершенно обыденная, уже мелькавшая передъ вами (многіе находили, при встрѣчѣ съ Чеховымъ, что онъ на кого-то походилъ, кого-то напоминалъ—земскаго врача, провинціальнаго учителя гимназіи, деревенскаго парня и т. п.), затѣмъ казалась неотдѣлимой отъ какого-то общаго впечатлѣнія обаятельности, которое одно запоминалось неизгладимо, впечатлѣнія душевной близости, почти сродства.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ и о характерѣ различныхъ воспоминаній о Чеховѣ, которыя мы посильно использовали для настоящаго очерка, не претендуя ихъ здѣсь исчерпать. Всѣ они проникнуты чувствомъ большой любви къ человѣку, котораго такъ рано, именно въ періодъ достиженія наибольшей зрѣлости таланта, на 45-мъ году жизни, унесъ недугъ, медленно подтачивавшій его силы, не умаляя въ немъ энергіи и бодрости духа до послѣднихъ фазисовъ болѣзни. Они свидѣтельствуютъ также о чрезвычайно искреннемъ и сердечномъ отношеніи Чехова къ тѣмъ, кто его зналъ и любилъ. Нѣкоторыя воспоминанія носятъ по преимуществу информаціонный характеръ, указывая на похвальную (и —по отношенію къ многимъ инымъ писателямъ—рѣдкую) заботу передать какъ можно болѣе точныхъ свѣдѣній и указаній, спасти отъ забвенія цѣлый рядъ мелочей изъ жизни и привычекъ Чехова, бесѣдъ съ нимъ и т. п. Чеховъ словно сообщилъ до извѣстной степени и своимъ почитателямъ, когда они воспоминаютъ о немъ, тотъ духъ объективности, скромности по отношенію къ себѣ, заботу о наивозможной правдѣ передачи, которые ему самому были присущи въ столь высокой степени. „Истинные таланты всегда сидятъ въ потемкахъ, писалъ Чеховъ,—въ толпѣ, подальше отъ выставки“. Онъ, повидимому, самъ стремился такъ жить. Но, чураясь „вы-

ставки", онъ никогда не уклонялся ни отъ какихъ знакомствъ и поддерживалъ обширныя и многоразличныя отношенія. Мы видимъ его „на короткой ногѣ" и съ малыми, и съ выдающимися людьми. Во многомъ—сообщаемыя въ воспоминаніяхъ данныя сливаются по своей общности. Но затѣмъ, въ нѣкоторыхъ изъ нихъ мы встрѣчаемъ, соотвѣтственно индивидуальности автора воспоминаній, особыя черты и свойства Чехова, которыя онъ по преимуществу сумѣлъ подмѣтить и выдвинуть. Вѣдь только у г. Бунина, напримѣръ, мы встрѣчаемъ такой характерный разговоръ съ Чеховымъ, происходившій при вполнѣ поэтической обстановкѣ, въ теплую, тихую, лунную ночь, на южномъ берегу Крыма, ранней весной, по пути изъ Ялты въ Оріанду:

— «Знаете, сколько лѣтъ еще будутъ читать меня? (спросилъ А. П.)— Семь. «Почему семь?»—спросилъ я.—«Ну, семь съ половиной».—«Вы поэтъ, Антонъ Павловичъ, сказалъ я.—А то, въ чемъ есть поэзія, живетъ долго и чѣмъ дольше, тѣмъ все сильнѣе... какъ хорошее вино». Онъ ничего не отвѣтилъ, но когда мы сѣли гдѣ-то на скамью, съ которой снова открылся видъ на блестящее въ мѣсячномъ свѣтѣ море, онъ скинулъ пенснэ и, поглядѣвъ на меня добрыми и усталыми глазами, сказалъ:— «Поэтами, милостивый государь, считаются только тѣ, которые употребляютъ такія слова, какъ «серебристая даль», «аккордъ» или «на бой, на бой, въ борьбу со тьмой».— «Вы грустны сегодня, А. П., сказалъ я, глядя на его простое, доброе и прекрасное лицо, слегка блѣдное отъ луннаго свѣта. Опустивъ глаза, онъ задумчиво копалъ концомъ палки мелкіе камешки, но когда я сказалъ, что онъ грустенъ, онъ шутливо покосился на меня. «Это вы грустны,—отвѣтилъ онъ. И грустны отъ того, что потратились на извозчика»...

Какъ вѣрно здѣсь переданъ тонъ чеховскаго разговора и какъ правъ былъ г. Бунинъ, не повѣрившій „поэту" ни въ его квалификацію поэтовъ, ни въ предсказанье о краткости его посмертной славы, которая, по мнѣнію А. П., и начаться то должна была лишь черезъ шесть лѣтъ... Скромность положительно мѣшала Чехову быть справедливымъ по отношенію къ себѣ и дѣлала его плохимъ пророкомъ въ этомъ отношеніи.

Вл. Г. Короленко, которому Чеховъ по виду напомнилъ „деревенскаго парня", не упустилъ отмѣтить черту удалаго задора, промелькнувшую въ ранней литературной дѣятельности Антона Павловича. Онъ вспомнилъ также настроеніе „русскаго и с к а т е л я лучшаго" у Чехова, хорошо знакомое и автору воспоминаній. Эволюція творчества Чехова представилась ему съ наибольшей ясностью, въ исторически-обоснованной послѣдовательности.

М. Горькій больше другихъ „субъектизировалъ" Чехова въ

передачѣ его разговоровъ именно своими,—Горькаго,—словами. Мастерски очертивъ то, что Чеховъ далъ ему, какъ писатель и человѣкъ, тѣ настроенія, которыя онъ въ немъ вызывалъ, Горькій съ особой яркостью оттѣнилъ ненависть Чехова къ пошлости и великолѣпно закончилъ свои отрывки воспоминаній словами о „большомъ, умномъ, ко всему внимательномъ человѣкѣ“, который прошелъ мимо „скучныхъ жителей своей родины“ и сказалъ имъ какъ разъ то, что слѣдовало имъ сказать: „стыдно такъ жить“.

А. И. Купринъ въ обрисовкѣ Чехова слѣдовалъ его хорошей традиціи художественнаго реализма и чрезвычайно выпукло начерталъ образъ, оставляющій впечатлѣніе совершенно живого лица, въ обстановкѣ его жизненнаго обихода. Онъ далъ и наиболѣе цѣнныя указанія о томъ, какъ и чему „училъ“ Чеховъ молодыхъ писателей. Онъ выдвинулъ въ немъ также черту нѣкотораго духовнаго одиночества, при равно-привѣтливомъ отношеніи ко всѣмъ...

Каждый видитъ то, что ему лично всего болѣе сродни, и цѣлостность изображенія проступаетъ лишь въ совокупности впечатлѣній многихъ лицъ, выдающихся писателей и болѣе скромныхъ, но добросовѣстныхъ наблюдателей и поклонниковъ, подчинившихся обаянію мощнаго таланта. Масштабъ опредѣляется угломъ зрѣнія: однимъ больше раскрылось, другимъ меньше, но и „большимъ“ не все попадается на глаза, а добросовѣстность смотрящихъ съ меньшей высоты помогаетъ имъ открывать цѣнныя крупицы, которыя пріобрѣтаютъ иногда важное значеніе въ интересахъ полной и безпристрастной истины.

Почти всѣ авторы воспоминаній говорятъ намъ и о томъ, какъ самъ Чеховъ къ нимъ относился, и цитируютъ его письма въ отрывкахъ или полностью. Вл. Г. Короленко не даетъ цитать, но мы узнаемъ изъ писемъ къ Плещееву, что Чеховъ называлъ его—„своимъ любимымъ изъ современныхъ писателей“. Отзывъ о М. Горькомъ мы приводимъ ниже въ одномъ изъ его писемъ, печатаемомъ здѣсь впервые, напомнивъ здѣсь кстати лишь то, что письмо датировано январемъ 1900 года: за истекшія шесть лѣтъ Горькій могъ, при измѣнившихся условіяхъ жизни, въ значительной степени избавиться отъ того „груза“, въ которомъ тогда упрекнулъ его Чеховъ. Вообще, онъ относился къ Горькому съ чрезвычайнымъ сочувствіемъ, что особенно высказалось въ памятной исторіи исключенія Горькаго изъ списка почетныхъ академиковъ.

Проѣздомъ черезъ Москву, я былъ у Чехова какъ разъ въ то время, когда этотъ вопросъ стоялъ на очереди. Онъ живо разспрашивалъ о

внечатлѣніи, которое произвелъ инцидентъ съ Горькимъ въ Петербургѣ, о томъ, что говорятъ и что предполагаютъ предпринять академики, чтобы соблюсти правду и справедливость. При этомъ въ Чеховѣ промелькнула черта гордаго самосознанія человѣка, который не допускалъ мысли, чтобы его могли заподозрить въ исканіи популярности.— „Уйти сразу самому — это дешево, — сказалъ Антонъ Павловичъ. Я не хочу заискивать расположенія кого-бы то ни было. Но какъ быть?“.

Въ воспоминаніяхъ г. Куприна приведено письмо Чехова въ академію (впервые оно было напечатано въ „Освобожденіи“). Считаемъ умѣстнымъ здѣсь его повторить, такъ какъ оно прекрасно характеризуетъ настроеніе Чехова, который дѣйствительно рѣшалъ лишь вопросъ личной совѣсти, „никому не льстя“:

«Въ декабрѣ прошлаго года я получилъ извѣщеніе объ избраніи А. М. Пѣшкова въ почетные академики и не замедлилъ повидаться съ А. М. Пѣшковымъ, который тогда находился въ Крыму, первый принесъ ему извѣстіе объ избраніи и первый поздравилъ его. Затѣмъ, немного спустя, въ газетахъ было напечатано, что въ виду привлеченія Пѣшкова къ дознанію по 1035 ст., выборы признаются недѣйствительными, при чемъ было точно указано, что это извѣщеніе исходитъ изъ академіи наукъ, а такъ какъ я состою почетнымъ академикомъ, то это извѣщеніе частью исходило и отъ меня. Я поздравлялъ сердечно и я же признавалъ выборы недѣйствительными—такое противорѣчіе не укладывалось въ моемъ сознаніи, примирить съ нимъ свою совѣсть я не могъ. Знакомство съ 1035 ст. ничего не объяснило мнѣ. И послѣ долгаго размышленія я могъ придти только къ одному рѣшенію, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложеніи съ меня званія почетнаго академика. А. Чеховъ».

Почти одновременно съ отправкой Чеховымъ этого письма въ академію наукъ, онъ прислалъ мнѣ коротенькую записку изъ Ялты:

«К. былъ у меня въ Ялтѣ; мы поговорили и пришли къ рѣшенію, къ сожалѣнію, неизбѣжному—уйти. Крѣпко жму руку».

У Чехова дѣйствительно все выходило какъ-то очень просто и значительно. Не заключается ли въ этихъ коренныхъ его свойствахъ — простотѣ, искренности и содержательности—главная основа истиннаго величія духа?

Ѳ. Батюшковъ.

Библіографія: 1904 г.—Вл. Короленко, Памяти А. П. Чехова, «Русск. Бог.», іюнь.—П. А. Сергѣенко, О Чеховѣ, воспоминанія, «Нива», ежем. прилож. № 70 (окт.).—А. М. Ѳедоровъ, А. П. Чеховъ,

«Южн. Зап.», №№ 31—34 1905 г.—Ив. Бунинъ, [1]) Памяти Чехова Сборникъ тов-а «Знаніе», кн. III. Вл. Ладыженскій, Изъ воспоминаній объ А. П. Чеховѣ. «Міръ Божій», апрѣль. Борисъ Лазаревскій, А. П. Чеховъ, Личныя воспоминанія, «Журн. для всѣхъ», № 7. Вл. А. Тихановъ, А. П. Чеховъ, Воспоминанія и письма. «Міръ Бож.». № 10. Михаилъ Чеховъ, Объ А. П. Чеховѣ, «Журналъ для всѣхъ», № 7 —Ив. Щегловъ, Изъ воспоминаній объ Антонѣ Чеховѣ, «Нива», ежем. прилож., № 6—7.—А. В. Амфитеатровъ, Памяти А. П. Чехова, 1904 г. «Русь» (перепеч. въ «Курганы», 1906 г.)—С. Я. Елпатьевскій «Русск. Вѣд.», 1904, іюль. Меньшиковъ, «Нов. Вр.» 1904, № 10186. А. Суворинъ «Нов. Вр.» 4 іюля 1904 г. и друг.

---

[1]) Статьи гг. Бунина, Горькаго, Куприна, Ладыженскаго, Ѳедорова, и очеркъ г. Эйхенвальда вошли въ составъ сборника «Памяти А. П. Чехова, изд. московскимъ Обществомъ любит. росс. словесности, въ 1906 г.

Въ 1902 году. Снятъ въ Ялтѣ

II.

Стихотворенія.

а) Посвящается Антону Павловичу Чехову.

Цвѣтущій, мирный уголокъ,
Гдѣ отдыхалъ я отъ тревогъ
И суеты столицы душной,
Я буду долго вспоминать,
Когда вернусь въ нее опять,
Судьбы велѣніямъ послушный.
Отрадно будетъ мнѣ мечтой
Перенестись сюда порой, —
Перенестись къ семьѣ радушной,
Гдѣ теплый, дружескій привѣтъ
Нежданно встрѣтилъ я, гдѣ нѣтъ
Ни свѣтской чопорности скучной,
Ни картъ, ни пошлой болтовни,
Съ пустою жизнью неразлучной,
Но гдѣ въ трудахъ проходятъ дни,
И чистый, безкорыстный трудъ
На благо края своего
Цѣнить умѣетъ темный людъ,
Платя любовью за него...
Не разъ мечта перенесетъ
Меня въ уютный домикъ тотъ,
Гдѣ вечеромъ, подъ звукъ рояля,
Въ душѣ усталой оживали
Волненья давнихъ, прошлыхъ дней
Весны умчавшейся моей —
Ея восторги и печали!..

Спасибо, добрые друзья,
За теплый, ласковый привѣтъ,
Которымъ былъ я здѣсь согрѣтъ!
Спасибо вамъ! И если снова
Не встрѣчусь съ вами въ жизни я,
То помяните добрымъ словомъ
Въ бесѣдѣ дружеской меня.

Усадьба „Лука“
1888 г. 6/VI.

А. Плещеевъ.

б) Памяти Чехова.

1904 года.

Я не зналъ, какъ я тебя любилъ,
Я далекъ тебѣ живому былъ,
Я кипѣлъ и пламенѣлъ въ борьбѣ—
Рѣдко помнилъ, думалъ о тебѣ...

Злая вѣсть пришла издалека—
Затряслась съ письмомъ моя рука,
Къ горлу шаръ тяжелый подошелъ...
Я прочелъ письмо иль не прочелъ?

И хожу, хожу... а мыслей нѣтъ!
И одѣлся въ трауръ кабинетъ,
И пятно заката на стѣнѣ
Позолотой гроба мнится мнѣ!

О, какъ міръ внезапно опустѣлъ!
Безъ души осталось сколько тѣлъ!
Потому что ихъ душа была—
Только свѣтъ отъ твоего чела.

Сквозь погостъ не жившихъ мертвецовъ,
Безъ могилъ, безъ пѣнья и вѣнцовъ,—
Какъ сокрытый богъ, свершилъ ты путь,
И скорбѣлъ, и говорилъ имъ:—Будь!

И рыдали мертвые глаза,
И живила ѣдкая слеза...
Чтобы жизнь въ ихъ тлѣніе пролить,
Далъ свою ты душу раздѣлить!

И живетъ, живетъ твоя душа,
Какъ луна, свѣтла и хороша,
Въ каждой скорби-грусти на Руси,
Гдѣ ни глянь, кого ни вопроси...

...Меркнетъ западъ, въ городѣ огни,
Барки спятъ подъ берегомъ въ тѣни,
Лаетъ песъ, на ночь освирѣпѣвъ,
На рѣкѣ—гармоники напѣвъ.

Дѣтка плачетъ, женщина поетъ,
По доскѣ чугунной сторожъ бьетъ,
Зашумѣлъ, запѣлъ кленовый садъ...
Это—ты, усопшій богъ и братъ?

Всюду, гдѣ тоскуетъ красота,
Скорбь твоя росою разлита...
Никогда мнѣ ближе ты не былъ!
Я не зналъ, какъ я тебя любилъ!

А. Амфитеатровъ.

* *
*

Отъ смерти не уйти,—но онъ угасъ такъ рано!
Давно въ своихъ когтяхъ терзалъ его недугъ,
А сердце вѣрило въ чаду самообмана,
Что молодость сильна и сломитъ тяжесть мукъ.

Надежды не сбылись! Духъ отлетѣлъ отъ тѣла!..
Смежился чудный взоръ и замерли уста!..
До срока день погасъ, до срока жизнь сгорѣла
Невоплощенною, какъ лучшая мечта!

Не терпитъ мертвый мракъ живительнаго свѣта,
Застой—движенія, уродство—красоты!
Жизнь гнѣвная, какъ вихрь, любовью не согрѣта,
Въ движеньи роковомъ мнетъ нѣжные цвѣты!

Разбитъ судьбой талантъ, погибъ художникъ слова,
Открывшій намъ глаза на тину мелочей,
На пошлость ихъ, какъ ядъ, вливающій сурово
Мертвящую тоску въ свинцовый сумракъ дней!

Призывами къ любви, къ труду, къ свободѣ, къ свѣту
Онъ трепетно будилъ унылыя сердца,
И силы зажигалъ, и слабому расцвѣту
Несъ ласку и тепло безъ мѣры и конца.

Предъ хрупкой чистотой души благоуханной
Въ нѣмомъ восторгѣ онъ, какъ жрецъ, благоговѣлъ,

Искалъ прекраснаго съ тревогой неустанной
И муками другихъ терзался и болѣлъ!

Но призракъ роковой стоялъ безмолвной тѣнью...
Темнѣли небеса и въ тучахъ гасъ закатъ,
И грустныхъ соловьевъ чарующему пѣнью,
Беззвучно сыпля цвѣтъ, внималъ „Вишневый садъ“...

И вдругъ примчалась вѣсть, наполнивъ сердце страхомъ:
Онъ умеръ!.. Онъ угасъ! И мы, склонивъ чело,
Стоимъ въ нѣмыхъ слезахъ, стоимъ надъ милымъ прахомъ
Того, кто насъ любилъ такъ нѣжно и тепло!

Леонидъ Афанасьевъ.

Еще недавно между нами
Ты жилъ, и мыслилъ, и писалъ...
Красиво-скорбными мечтами,
Нашъ хмурый путь ты усыпалъ...

Ты говорилъ: заря далеко,
Но, вѣрьте мнѣ, она блеснетъ...
И всѣ мы вѣрили глубоко,
Что счастья день для насъ взойдетъ...

Мы за Вершининымъ шептали:
„Быть-можетъ, черезъ триста лѣтъ“...
„Въ Москву, Москву—мы повторяли
Иринѣ, Машѣ, Ольгѣ вслѣдъ...

„Въ Москву, Москву“, гдѣ вешнимъ свѣтомъ
Залитъ лазурный небосклонъ,
Дыша любовью и привѣтомъ,
Гдѣ слышенъ счастья перезвонъ...

Гдѣ отдохнетъ и дядя Ваня,
И Соня бѣдная найдетъ
Покой душѣ... Пусть еще рано...
Но солнце яркое взойдетъ...

Вишневый садъ... Его срубили...
Снесетъ и насъ рѣка временъ...
Все, чѣмъ мы жили, что любили...
Но все-жъ жизнь—радость, а не стонъ...

Такъ ты училъ, пѣвецъ печали,
Пѣвецъ тоски страны родной...
И струны чуткія рыдали,
И мы рыдали за тобой...

Но въ тѣхъ рыданьяхъ обновленья
Душа цвѣла... Мы будемъ жить...
И дней грядущихъ поколѣнье
Учить, какъ мы, тебя любить.

Эм. Бескинъ.

* * *

Онъ умеръ, тоскуя о ясной зарѣ,
Онъ умеръ, о солнцѣ тоскуя...
О бѣдной, несчастной отчизнѣ своей,
Какъ сынъ ея вѣрный, горюя...
Онъ умеръ! О, грозная, черная вѣсть!
О полная скорби утрата!..
... И шли мы несмѣтной, скорбящей толпой
За гробомъ угасшаго брата...
И слезъ не стыдились... И, полны любви,
Цвѣтами могилу убрали:
Спи съ миромъ, великій и чистый пѣвецъ
Великой и чистой печали!

* * *

Онъ умеръ, тоскуя о ясной зарѣ,
Онъ умеръ, о солнцѣ тоскуя...
И вспыхнула ярко и гордо заря,
Побѣду надъ мракомъ ликуя...
И солнце, великое солнце встаетъ,
Сверкаетъ съ невѣдомой дали!..
Спи съ миромъ, великій и чистый пѣвецъ
Великой и чистой печали...

Г. Вяткинъ.

Да, онъ вѣрилъ, что жизнь впереди
Будетъ свѣтлой, свободной, прекрасной...
И сквозь сумракъ больной и ненастный
Несъ онъ солнце надежды въ груди...
И рисуя печаль слабыхъ, хмурыхъ людей,
Пошлость бѣдной и маленькой жизни
Онъ и ждалъ и желалъ для отчизны
Новыхъ ясныхъ и радостныхъ дней...
И онъ видѣлъ въ мечтѣ чудный будущій вѣкъ
Вѣкъ свободы и свѣтлаго знанья,
Гдѣ прекрасный, какъ въ день мірозданья,
Будетъ жить безъ цѣпей человѣкъ...

Г. Галина.

Его похитилъ рокъ суровый,
Сошелъ подъ сѣнь могильныхъ плитъ
Нашъ милый Чеховъ... Садъ вишневый
Вѣтвями грустно шелеститъ...
Онъ въ міръ пришелъ съ веселымъ смѣхомъ,—
Ушелъ съ печальною слезой...
Онъ былъ для міра чуткимъ эхомъ
Съ своею чуткою душой...
Онъ гасъ... И пѣсней лебединой
Намъ прозвучалъ „вишневый садъ“,
И передъ близкою кончиной
Былъ полонъ вѣры грустный взглядъ:
„Увидимъ небо все въ алмазахъ“
„Услышимъ ангеловъ“,—онъ пѣлъ...
Въ прекрасныхъ драмахъ и разсказахъ
Онъ человѣка пожалѣлъ...
Полны и смѣха, и печали
Глядѣли милые глаза,
И нашу душу согрѣвали
Его улыбка и слеза ..
Его похитилъ рокъ суровый...
Сошелъ подъ сѣнь могильныхъ плитъ
Нашъ бѣдный Чеховъ... Садъ вишневый
Вѣтвями грустно шелеститъ...

Гаролдъ.

Свой грустный смѣхъ надъ пошлостью земной,
Глубокую печаль о счастіи и волѣ,
О жизни, блещущей безсмертной красотой,
Съ собою ты унесъ—и не придешь къ намъ болѣ.
Ты между насъ мелькнулъ средь низменныхъ заботъ,
Загадочно въ ночи мерцавшею зарницей,
И свѣтъ ея угасъ, и больше не блеснетъ,
Ты не взволнуешь насъ могучею страницей...
Порой мнѣ кажется, съ тобой я говорю
И вижу предъ собой задумчивыя очи,
И разсказать спѣшу про свѣтлую зарю,
Что къ родинѣ идетъ на смѣну долгой ночи.
И ты—ты тоже ждалъ. Волнуясь и спѣша,
Высказывалъ ты намъ завѣтныя желанья,
И жизнь тебѣ вдали казалась хороша—
Безъ рабства, нищеты, безъ гнета и страданья!
И кажется, звучитъ, какъ прежде, рѣчь твоя,
Усмѣшка кроткая исполнена сомнѣнья,
И, слушая тебя, невольно чую я
И мысль глубокую, и трепетъ вдохновенья.
Но это призракъ только: нѣтъ его,
И больно сознавать, что лучшихъ изъ сыновъ
У родины, какъ кладъ, спѣшитъ украсть могила..
Ушелъ отъ насъ поэтъ, исполненъ вѣщихъ сновъ,
Любовь, талантъ и умъ—все смерть заворожила.

Вл. Ладыженскій.

* * *

Послѣдній вздохъ-аккордъ печальный
Его души многострадальной
И угнетающій конецъ...
Недолго былъ онъ веселъ въ жизни,
Ему любовь къ родной отчизнѣ
Дала страдальческій вѣнецъ!

Онъ задыхался въ жизни сѣрой,
Но съ грустно-радостною вѣрой
Далекій свѣтъ боготворилъ...
И часто, скорбью утомленный,
О жизни свѣтлой, обновленной
Въ послѣднихъ грезахъ говорилъ.

Но самъ онъ зналъ, что до разсвѣта
Не доживетъ душа поэта,
Какъ въ тихомъ сумракѣ звѣзда...
И вѣсть пришла съ чужбины дальной:
Въ его душѣ многострадальной
Замолкли струны навсегда!

А. Лукьяновъ.

Неумолимый рокъ унесъ его въ могилу,
Болѣзнь тяжелая туда его свела.
Она была—въ груди и всюду съ нимъ ходила:
Вся жизнь страны родной—болѣзнь его была!

Пророки и вожди, кипя душой мятежной,
Могли быть гнѣвными, могли, любя, карать.
А онъ любилъ людей такой любовью нѣжной,
Какъ любитъ женщина, какъ любитъ только мать.

Печали жгучій ядъ онъ выпилъ полной чашей,
Впиталъ въ себя всю грусть, глубокій, какъ родникъ.
И былъ отравленъ онъ тоскою жизни нашей,
Терпѣніемъ рабовъ и тупостью владыкъ.

Дыханье пошлости ему дышать мѣшало.
До гроба мучила холодная вражда.
И, наконецъ, толпа любовью истерзала...
Но былъ онъ одинокъ повсюду и всегда.

Онъ жилъ подъ темною, загадочною властью
Судьбы насмѣшливой, безчувственной и злой,
И капля каждая имъ выпитаго счастья
Была отравлена невидимой рукой.

И, поздно понятый, судимый такъ напрасно,
Онъ умеръ оттого, что слишкомъ жизнь бѣдна,
Что люди на землѣ и грубы, и несчастны,
Что стонетъ подъ ярмомъ родная сторона.

И, оставляя міръ, онъ звалъ тебя, свобода!
Послѣдній вздохъ его уже звучалъ тобой,
Онъ чувствовалъ, что даль таитъ лучи восхода,
А ночь еще сильна и давитъ край родной.

О родина моя, ты вознесешь моленья
И тѣнь прекрасную благословишь, любя.
Но прокляни же ты проклятіемъ презрѣнья
Бездушныхъ торгашей, что продаютъ тебя.

Пусть смерть его падетъ на гадовъ дряхлой злобы,
Чьи руки черствыя обагрены въ крови,
Кто добивалъ его, а послѣ былъ у гроба
И громче всѣхъ кричалъ о дружбѣ и любви.

Блесни надъ родиной, могучее свѣтило,
Птицъ ночи разгони, пронзи ночную тѣнь
И, возрождая жизнь надъ темною могилой,
Приди, торжественный, давно желанный день!

Скиталецъ.

Въ вишневомъ саду.

Блистала въ сумеркахъ звѣзда
И сквозь вишневый садъ
Роняла въ зеркало пруда
Съ небесъ лучистый взглядъ.
И тѣни хмурыя толпой
Сходились къ берегамъ,
Скользя неслышною стопой
По бархатнымъ лугамъ.
И тихо плакали, въ мечтахъ
О счастьи на землѣ,
И садъ вишневый, весь въ цвѣтахъ,
Томился въ полумглѣ.
Но вдругъ исчезла, словно сонъ,
Прекрасная звѣзда,
И тусклы стали небосклонъ
И зеркало пруда...
Плыветъ туманъ, легла роса,
И въ царствѣ тишины
Разсѣкъ нѣмыя небеса
Холодный серпъ луны.

Е. Чернобаевъ.

Лебединая пѣснь.

Нѣтъ словъ... Уста отъ скорби нѣмы,
Въ душѣ—утраты злая боль.
Послѣдній стихъ его поэмы—
Давно ли онъ звучалъ, давно-ль?

—

Давно ли молодымъ побѣгамъ
Сулилъ онъ радостный расцвѣтъ,
И сыпался душистымъ снѣгомъ
Его мечты вишневый цвѣтъ?

—

Но вотъ алѣютъ неба своды,
Съ зарей несутся облака,
И грянетъ громъ, и хлынутъ воды:
Гроза весенняя близка.

—

Онъ возвѣщалъ зарю, не зная,
Что близко смерти торжество,
Что эта пѣснь, душѣ родная—
Пѣснь лебединая его!

О. Тюмина.

1905 года.

Хмурый, съ тайной глазъ суровыхъ
Кончилъ онъ недолгій путь,
На расцвѣтъ побѣговъ новыхъ
Не успѣлъ онъ и взглянуть...

Съ нѣжной, грустною улыбкой,
Съ тихой скорбью на челѣ,
Весь—въ грядущемъ, онъ ошибкой
Былъ на будничной землѣ.

Безконечно—одинокій,
Расточая сердца кровь,
Въ цѣломудренномъ намекѣ
Онъ таитъ свою любовь.

И въ невѣдомыхъ скрижаляхъ,
Весь окутанный тоской,
Онъ вписалъ тоску о даляхъ
Неувѣренной рукой

Спи же съ миромъ, одинокій!
Зори новыя встаютъ...
Безъ тебя имъ, братъ далекій,
Люди пѣсню пропоютъ.

Спи, безвременно почившій!
Тѣни таютъ въ полумглѣ...
Спи, любимый, все простившій,
Все понявшій на землѣ!

Л. М. Василевскій.

Въ сумракѣ.

Блѣдный сонъ догорѣавшго дня.
Дышетъ сумракъ побѣдно.
Кто-то больно обидѣлъ меня—
Кто-то сгинулъ безслѣдно.

—

Какъ печальна прозрачная высь!
Какъ загадочно море!
Красота и страданье сплелись
Въ неразрывномъ узорѣ.

—

О, взгляни—безнадежность вездѣ.
День угасъ и—не встанетъ.
И мечта—отражаясь въ звѣздѣ—
Завлечетъ и обманетъ.

—

Я глухое страданье таю
Отойдя отъ былого.
И меня не влечетъ къ бытію.
Не воскреснуть мнѣ снова.

—

Какъ мнѣ вѣрить въ бесмертіе дня,
Мнѣ, сгорѣвшему блѣдно?
Кто-то больно обидѣлъ меня —
Кто-то сгинулъ безслѣдно...

Яковъ Годинъ.

Еще немного, и мы узнаемъ, зачѣмъ мы живемъ. Если бы знать!..
Если бы знать!
(Музыка играетъ все тише и тише).
„Три сестры". 4-й актъ.

„О, если бы узнать зачѣмъ все это было!
О, только бы узнать!" Но грустно садъ молчалъ.
Далекій стройный хоръ такъ тихо, такъ уныло
Звучалъ... и замиралъ...
Узналъ ли онъ теперь? Въ послѣднее мгновенье,
Въ мучительной борьбѣ, сквозь ужасы и тьму,
Великой истины великое прозрѣнье
Сошло ль къ нему?
Задумчивъ, молчаливъ,—какъ и во дни расцвѣта,
Передъ могилой онъ душой не изнемогъ.
Онъ въ сумракъ смерти шелъ въ сіяньѣ тихомъ свѣта,
И не свѣтить не могъ.
Лучемъ мерцающимъ прошелъ онъ между нами,
И не погибъ, о, нѣтъ! Поднявшись до небесъ,
Онъ слился съ вѣчными небесными лучами
И въ нихъ—исчезъ.

К. Калитинъ.

* * *

Онъ вышелъ въ путь, когда отчизна спала глубоко мертвымъ сномъ;
Какъ отблескъ скучной, рабской жизни, была глухая ночь кругомъ.
Животной силы торжество, людей съ надломленной душою,
Безъ силъ, безъ воли, безъ надеждъ онъ увидалъ передъ собою.
Скорбя надъ родиной больной, онъ создалъ, съ правдой безпощадной,
Рукой безсмертнаго творца, картины ночи непроглядной.
И голосъ скорбнаго пѣвца осенней ночи молчаливой
Такъ властно къ новой жизни звалъ—свободной, свѣтлой и красивой.
Смерть не дала ему увидѣть разсвѣта радостныхъ лучей;
Въ послѣдній часъ онъ вѣрилъ въ близость прихода новыхъ, свѣтлыхъ дней.
Заря близка! Лучъ солнца яркій спугнетъ унылой ночи тѣнь...
Его отчизна не забудетъ, когда придетъ свободы день.

А. Карасевичъ.

* * *

Онъ умиралъ въ предъутреннемъ туманѣ,
Когда зарей едва блеснула даль,—
Отозвалась въ его глубокой ранѣ
Въ послѣдній мигъ послѣдняя печаль.
Рисуя жизнь далекую прекрасной,
Онъ утѣшалъ, когда стояла ночь,—
Но пронеслось дыханье бури властной
И онъ замолкъ, не въ силахъ намъ помочь.
Какъ онъ скорбѣлъ, что къ жизни идеальной
Дороги нѣтъ безъ крови и могилъ
И онъ не могъ отдать странѣ печальной
Послѣднихъ силъ!

А. Лукьяновъ.

* * *

...Годъ пролетѣлъ, какъ воронъ черный,
Надъ безутѣшною страной.
Безмолвно, съ кротостью покорной
Сносилъ удары край родной...
Согнувъ подъ ними рабски спину,
Упалъ онъ въ страшную пучину
Великихъ горестей и бѣдъ.
Отъ нихъ остался грозный слѣдъ...
Но въ этомъ сонмищѣ страданій,
Безумныхъ воплей и рыданій
Была одна слеза: она
Изъ тихой грусти соткана,
Но обладаетъ вѣчной силой,—
Слеза надъ чеховской могилой!..
Я помню эти три строки
Короткой первой телеграммы,
Пролившей въ душу ядъ тоски,
Открывшей правду страшной драмы...
Изъ нихъ узналъ я въ первый разъ
О нашемъ горѣ необъятномъ,
Погибшемъ счастьѣ невозвратномъ,
О томъ, что онъ ушелъ отъ насъ,
Ушелъ, прекрасный, скорбный, чистый...
Что этотъ милый взглядъ лучистый
Навѣкъ померкнулъ и погасъ...
Ушелъ талантъ, большой, могучій,
Закрылось солнце грозной тучей,

Осиротѣло все вокругъ,—
Ушелъ родной, любимый другъ...
И думалъ я съ печалью жгучей,
Что на земномъ его пути
Едва лишь начали цвѣсти
Улыбки счастья... что съ тревогой,
Съ тоской непонятой души
Онъ шелъ тернистою дорогой
И слышалъ шепотъ смерти строгой:
„Я жду тебя! Спѣши! Спѣши!“.

**
*

Прошло три мѣсяца... „Ивановъ“
Шелъ въ первый разъ у „москвичей“...
Толпа зоиловъ и профановъ,
Безпечный шумъ пустыхъ рѣчей...
Тревожной поступью несмѣлой
Съ печальной думой о тебѣ,
Шепча проклятія судьбѣ,
Входилъ я въ храмъ осиротѣлый,
Гдѣ мы тебя въ послѣдній разъ
Вѣнкомъ лавровымъ увѣнчали,
Ловили взглядъ чудесныхъ глазъ,
Улыбку, полную печали,
Святую кротость мудреца,
Который видѣлъ зоркимъ окомъ
За этимъ праздничнымъ потокомъ
Мракъ недалекаго конца.
Вишневый садъ поблекъ... Сѣдая,
Глухая осень... Гдѣ цвѣты?
Гдѣ эта зелень молодая,
Гдѣ эти вешнія мечты?
Какой онѣ разбиты силой?
Гдѣ ты, гдѣ ты, нашъ Чеховъ милый?
„Нашъ Чеховъ милый“... Этотъ звукъ

Теперь обвѣянъ скорбной тѣнью,
Ручьями слезъ, могильной сѣнью,
Волной недавнихъ тяжкихъ мукъ!..

* *
*

Его любили мы, какъ друга,
Съ которымъ насъ связала нить
И грезъ, и вѣчнаго недуга,—
Съ которымъ можно говорить
Полу-намекомъ, полу-словомъ,
Съ которымъ въ сумракѣ суровомъ
Тоскливыхъ будней такъ легко
Мечтать о чемъ-то свѣтломъ, новомъ,
Что скрыто гдѣ-то далеко,
Куда нашъ путь тернистъ и длиненъ...
Но „черезъ двѣсти-триста лѣтъ“,
Какъ увѣряетъ насъ Вершининъ,
Исчезнетъ тьма, и будетъ свѣтъ!
Студентъ Трофимовъ вѣритъ свято
Въ работу будущихъ годинъ:
Былое сгинетъ безъ возврата,—
Разумный трудъ, лишь онъ одинъ
Дастъ людямъ счастье... Новь объята
Надеждой, вѣрой... Старина
Кончаетъ дни, озарена
Лучомъ печальнаго заката...
Но въ этой „доброй старинѣ“.
Среди оставшихся развалинъ
Былыхъ вѣковъ, какъ въ старомъ снѣ,
Есть что-то жалкое... Печаленъ
И неразуменъ прежній бытъ,
Который брошенъ и забытъ...
Но вотъ, въ гнѣздѣ завѣтномъ, старомъ
Раздался первый грозный стукъ,
Стукъ топора... И этотъ звукъ

Смертельнымъ кажется ударомъ
Для раззореннаго гнѣзда,
Гдѣ жизнь всегда была чужда
Животворящаго труда...
Слѣдовъ былого нѣтъ ужъ болѣ,
Слуга, послѣдній могинанъ
Изъ тѣхъ фанатиковъ-крестьянъ,
Что испугались свѣтлой воли,
Забытъ въ усадьбѣ... Старый кротъ
Въ пыли минувшаго умретъ.
О, намъ жалѣть его не надо,
Какъ и помѣщичьяго сада,
Какъ старины... Но, ахъ!—мораль
Слабѣе чувства—и печаль
Вливаетъ въ душу каплю яда,
И почему-то всѣхъ намъ жаль;
Таковъ ужъ Чеховъ... Нѣжно, кротко
Похоронилъ онъ старину,—
И ворвалась въ его „весну“
Меланхолическая нотка...

* *
*

Ты навсегда ушелъ отъ насъ
Съ улыбкой кроткой и печальной,—
И свѣтъ души многострадальной,
Какъ тихій вздохъ любви, погасъ...
И плакалъ мѣсяцъ серебристый,
И потемнѣла даль рѣки...
И садъ, вишневый садъ душистый,
Заглохъ подъ гнетомъ злой тоски...
Ушелъ!.. Изъ міра лжи и прозы
Твоя душа умчалась въ даль...
Что ей земныя наши слезы
И наша поздняя печаль!..

Л. Мунштейнъ.

* * *

Ты говорилъ намъ про страданья
Забытыхъ „сѣренькихъ“ людей,
Про ихъ тоскливое сознанье
Тяжелой участи своей.

И въ типахъ вѣрныхъ и печальныхъ
Мы близкихъ видѣли своихъ:
Дѣтей, сестеръ многострадальныхъ
И братьевъ жалкихъ и больныхъ!

Пройдутъ года... Иные звуки
Въ рѣчахъ баяновъ зазвучатъ,
И гнетъ больной и лишней муки
Любовь и знанье удалятъ!

Пройдутъ года, и въ вѣчность канетъ
Безсилья хмурая пора:
Здоровый міръ на смѣну встанетъ
Въ защиту счастья и добра,—

Но, какъ въ дни горести жестокой
Намъ слезъ участья не забыть,
Такъ будемъ съ вѣрою глубокой
Мы образъ Чехова хранить!

Вѣра Нарановичъ.

I.

...Тогда цвѣты на стебляхъ увядали.
И свѣтъ погасъ. И не лучились дали.
И зрячіе не видѣли дорогъ...
И ты пришелъ во тьму глухого лѣса,—
Недвижныхъ тучъ надъ нимъ была завѣса,—
И факела—унылый—не зажегъ...

Но ты узналъ, чего мы жадно ищемъ.
Какъ тихій звонъ—надъ сумрачнымъ кладбищемъ,
Твои слова носились въ темнотѣ;
Какъ чудодѣй,—могучій и суровый,—
Ты не разбилъ гремящія оковы,
Но далъ просторъ ликующей мечтѣ...

..Тогда цвѣты на стебляхъ увядали...
И свѣтъ погасъ, и не лучились дали,
И ропотъ былъ, и тлѣли алтари...
Но ты пришелъ, какъ ангелъ бѣлоснѣжный,
И намъ сказалъ, задумчивый и нѣжный,
Что эта Ночь—предвѣстница Зари...

И пѣснь твоя, все трепетнѣй и чаще,
Тревожа глушь, въ лѣсной звенѣла чащѣ
И въ лучшій міръ торжественно звала...
Твой голосъ былъ, какъ колоколъ вечерній...
Ты намъ расплелъ вѣнцы изъ жгучихъ терній...—
Хвала тебѣ,—великая хвала!

II.

Ты съ нами жилъ;—воздушна и ярка,
Цѣпь облаковъ сіяла бѣлизною,
Какъ легкій дымъ прозрачной и сквозною,
Въ дали небесъ, подъ шелестъ вѣтерка.

И чайка днемъ звенѣла надъ волною...
Ея души пѣвучая тоска.
По красотѣ, была твоей близка—
Вы мукою проникнулись одною!

Но ты угасъ—и молній быстрый лучъ
Блеснулъ, мелькнувъ изъ отдаленныхъ тучъ,
И грянулъ громъ—невидимый кудесникъ;

И чайка вдругъ упала съ вышины,
И трупъ ея въ сѣтяхъ мелькнулъ волны,—
И зачернѣлъ надъ моремъ—Буревѣстникъ!

Михаилъ Пустынникъ.

Отрывокъ.

Я видѣлъ сонъ, зловѣщій плодъ мечты,
Земля была кладбищемъ безпредѣльнымъ.
Какъ черный лѣсъ, стояли тамъ кресты,
Подавлены безмолвіемъ смертельнымъ.

Кончалась ночь. Въ неясной полутьмѣ
Рождался свѣтъ болѣзненный и дальній
И предо мной, какъ призракъ, на холмѣ
Вздымался крестъ всѣхъ выше и печальнѣй.

Онъ выступалъ таинственно сквозь мракъ,
Раскинувъ врозь свои прямыя руки.
Но не былъ то могилы мирный знакъ,
То символъ казни былъ и муки.

Онъ оживалъ и роковой упрекъ
Мнѣ посылалъ съ настойчивою властью.
И видѣлъ я: на немъ распятъ пророкъ
На жертву злому самовластью.

Сочилась кровь изъ-подъ шиповъ вѣнца,
Въ очахъ была смертельная истома.
Малѣйшая черта того лица
Была давно близка мнѣ и знакома.

Онъ голову склонилъ безсильно внизъ,
Его спина носить привыкла иго.
Онъ былъ распятъ и на крестѣ повисъ,
Надъ нимъ была распята книга.

Онъ разомкнулъ поблекшія уста,
Стараясь вымолвить невѣдомое слово.
Но вмѣсто словъ съ высокаго креста
Раздались звуки кашля злого.

Онъ застоналъ и поблѣднѣлъ, какъ трупъ.
И на щекахъ, какъ кровь, мелькнули пятна,
И наконецъ съ полуоткрытыхъ губъ
Слетѣло: жажду! еле внятно...

А небеса свѣтлѣли въ вышинѣ,
Туманъ блѣднѣлъ, спускаясь ниже.
Заря росла въ восточной сторонѣ,
И первый лучъ мелькалъ все ближе.

Такъ.

Ты любилъ ее робко,—эту жизнь многоцвѣтную,
Безъ надежды предъ ней ты молился въ тиши,
Безъ рыданья принесъ ты ей грусть беззавѣтную
Стыдливо прекрасной души.

Какъ сіяньемъ заката—печалью повитая,
Безъ рыданій рыдала молитва твоя,
Какъ напѣтая пѣсня, какъ радость забытая,
Какъ могила, невѣдомо чья.

И изъ сердца великаго, сердца влюбленнаго
По каплѣ, по каплѣ сочилася кровь...
И какого-то неба—иного, бездоннаго
Безъ надежды просила любовь.

И стыдливо душа невозможнаго чаяла,
Минутѣ о вѣчномъ молясь,
И въ сіяніи вѣчнаго радостно таяла,
Къ звѣздамъ алмазнымъ неслась,

Какъ покорнаго вечера благоуханіе,
Какъ безропотно-грустный закатъ,
Какъ весенней любви, какъ любви трепетаніе,
Какъ первой любви ароматъ...

К. Ч.

Въ Крыму.

1.

Ужели—здѣсь?.. Калитка сада,
Кругомъ—татарскіе дома...
Гдѣ ниже бѣлая ограда—
Видна лазурныхъ водъ кайма.

—

Мы входимъ... Бѣлый домъ... Съ веранды
Подобьемъ пышнаго плаща—
Повсюду свѣсились гирлянды
Лозъ виноградныхъ и плюща.

—

Іюльскій полдень знойно жарокъ,
Лишь слышно пѣніе цикадъ...
Какъ онъ разросся—густъ и ярокъ
Посаженный недавно садъ!

—

Побѣги юные могучи,
Роскошно вьется ихъ узоръ,
Поятъ ихъ влагой свѣтлой тучи
И обвѣваетъ вѣтеръ съ горъ.

—

Здѣсь каждый листъ прозрачно зеленъ,
Здѣсь и средь горной высоты
Порой бѣлѣютъ изъ расщелинъ
Благоуханныхъ розъ кусты.

—

Вотъ лавръ зелено-золотистый,
Вотъ кипарисы у стѣны—
Покрыты пылью серебристой,
Какъ бы налетомъ сѣдины...

—

И—память родины далекой—
Здѣсь рядомъ съ елью и сосной.
Вотъ стволъ березки одинокой,
Для сердца русскаго родной.

—

Изгнанникъ сѣвера родного!
Здѣсь приковалъ его недугъ,
Но промѣнять онъ жаждалъ снова
Ликующій и свѣтлый югъ
На хмурый край суровыхъ вьюгъ.
Его рабочій кабинетъ
Съ уютной нишею глубокаго дивана.
Видъ на̀ море и груды книгъ, портретъ,
Каминъ съ пейзажемъ Левитана...

—

Здѣсь часто видѣлъ онъ въ окно,
Какъ надъ волной кружилась чаекъ стая,
И мысль его неслась имъ вслѣдъ, витая,
И зрѣло творчества зерно.

—

И въ шумѣ бурь, когда каймою пѣны
Вихрь бороздилъ морскую синеву,
Не здѣсь ли родился, подъ рѣзкій крикъ сирены,
И вопль души его:—Въ Москву!—

Онъ говорилъ:—Я умираю!—
Но для поэта смерти нѣтъ,
Неугасимъ—родному краю
Горитъ его созданій свѣтъ.

—

Вишневый садъ его не срубленъ
И вѣтви бѣлыя шумятъ,
Въ красѣ весенней не загубленъ—
Онъ льетъ безсмертный ароматъ...
Художникъ сумеречной жизни,
Откинулъ онъ безтрепетной рукой
Завѣсу пошлости въ отчизнѣ,
И взволновалъ сердца̀ смятеньемъ и тоской.

—

Въ немъ обрѣли всѣ чувства выраженья:
Добро и зло, и свѣтъ, и тьма,
И въ творчествѣ его—всей жизни отраженье,
Глубокое, какъ жизнь сама.

—

Онъ близокъ тѣмъ, чьей духъ освобожденья жаждетъ,
Чья жизнь—одинъ порывъ сплошной,
За всѣхъ страдаетъ онъ, кто страждетъ
Судьбой забытый, жалкій и смѣшной.

—

Какъ пламя—сквозь хрусталь, своеобразно страннымъ
Очарованіемъ дыша,
Въ созданіи поэта многогранномъ
Сквозитъ великая и чуткая душа.

—

Гори же намъ надъ сумерками жизни,
Зажженный истиной и вдохновеньемъ свѣтъ,
На тлѣнье пошлости водой живою брызни,
Отъ сна тяжелаго буди людей, поэтъ.

—

Ты вѣровалъ, что жертвы не безплодны,
Что слезы падаютъ росой на алтари,
Что будемъ счастливы, что будемъ мы свободны
Въ лучахъ иной немеркнущей зари!

О. Чюмина.

Одинокой души одинокій пѣвецъ,
Полюбившій печаль обездоленныхъ дней!
Ты взошелъ высоко и увидѣлъ конецъ
Всѣхъ земныхъ, многоцѣльныхъ путей...
И постигнувъ земной безнадежный удѣлъ,
Ты покинулъ вершины безжизненныхъ скалъ
И бродилъ среди насъ и клеймить насъ хотѣлъ,
Но жалѣлъ... И, жалѣя, прощалъ.
О, мы знали тоску, мы умѣли страдать,
Насъ холодная тьма обвивала кольцомъ!
И, какъ дѣтямъ больнымъ утомленная мать,—
Обѣщалъ ты намъ счастье... потомъ.
Какъ ночной огонекъ, запылавшій въ степи,
Увлекалъ и томилъ твой мерцающій свѣтъ...
Незабвенный сердцамъ одинокихъ людей,
Одинокій и скорбный поэтъ!

Дмитрій Цензоръ.

Съ лазурной вышины лучами солнце лило,
Катилась быстрая, прозрачная рѣка,
Задумчивая тѣнь лѣсовъ къ себѣ манила

И пѣсня птицъ неслась свободна и звонка...
И въ этотъ ясный день веселья и сіянья,
Когда такъ далеко, казалось, скорбь людей,
Здѣсь, возлѣ, предо мной—покоилось страданье
Подъ сѣтью частою раскидистыхъ вѣтвей.

Когда, прельщенные задумчивою лирой,
Мы вѣрили мечтой, что жизнь еще полна
И смѣха яснаго, и грусти нѣжно-милой...
Вдругъ голосъ твой умолкъ, оборвалась струна...

Нашъ другъ, нашъ старшій братъ, внимательный
и нѣжный,
Душою созвучною на все ты отвѣчалъ,
И нищету ума, и сонъ нашъ безмятежный,
И скуку жизни всей—слезами ты встрѣчалъ.

Не строгую мораль, не грозные уроки
Читали мы въ твоихъ созданіяхъ мечты,
Но сквозь печальныя мы чувствовали строки
Такія милыя, прелестныя черты:

Какъ другъ,—ты указалъ на тяжкія оковы,
Желѣзной силою опутавшія насъ,
И какъ поэтъ,—ты прозрѣвалъ міръ новый,
Міръ лучезарныхъ дней безъ лести, лжи и фразъ...

И пламенной душой внимали мы любовь,
Мы жаждали еще и горести и свѣта,
Но... голосъ твой умолкъ... намъ не услышать вновь
Ни братскаго суда, ни братскаго привѣта...

А воздухъ былъ такъ чистъ, съ прозрачной вышины
Такъ солнце ласково и весело сіяло,
Что эта тишина невольно навѣвала
О жизни лучшихъ дней ласкающіе сны.

И вдругъ до ясности, до глубины сознанья
Блеснула мысль огнемъ, какъ сердца прорицанье,
Что не безплодно-же рвалась душа поэта,
Что доживемъ и мы до яркаго расцвѣта,

И будетъ жизнь у насъ свободна и легка,
Какъ эта быстрая свободная рѣка,
Какъ это пѣнье птицъ, какъ дня сверканье это...

Сергѣй Якимовъ.

Его я часто вспоминаю.
Вотъ и теперь передо мной
Стоитъ онъ, точно какъ живой,
Такой, какимъ его я такъ люблю и знаю:
Сухія, тонкія черты,
Волосъ сѣдѣющія пряди
И эта грусть въ глубокомъ взглядѣ,
Сосредоточенномъ и полномъ доброты.
Больной и безконечно милый,
Онъ былъ похожъ на первоцвѣтъ,
Сквозь снѣгъ пробившійся на свѣтъ,
Чтобъ возвѣстить весну предъ раннею могилой.
Онъ о своей судьбѣ молчалъ,
Хотя до дна источникъ видѣлъ.
Страдая, жизнь не ненавидѣлъ,
Жалѣя всѣхъ людей, онъ ихъ не презиралъ.
Средь цѣпкихъ травъ трясины зыбкой,
Гдѣ гады скользкіе шипятъ,
Стоялъ онъ, ужасомъ объятъ,
Но съ побѣждающей пророческой улыбкой.
И сквозь удушливую тьму
Глядѣлъ съ глубокою печалью:
Заря не освѣтится-ль за далью?
И всѣмъ незримое открылося ему.
Средь ослѣпленныхъ и безглазыхъ
Одинъ прозрѣлъ онъ горній свѣтъ
И намъ оставилъ, какъ завѣтъ:
„Увидимъ ангеловъ и небеса въ алмазахъ“.

А. Федоровъ.

В) СТИХОТВОРЕНІЯ.

Лѣсъ.

Вошла и блѣдна и грустна
Въ лѣсъ тихая осень.
И жалоба стала слышна
Въ гудѣніи сосенъ.

Лѣсъ грустно шумѣлъ о быломъ.—
Дни стали короче.
Заплакало небо дождемъ.
Темны были ночи.

На мокрыхъ полянахъ трава
Свалялась и тлѣла.
Березъ облетавшихъ листва
Печально желтѣла.

Онъ весь почернѣлъ и зачахъ.
Сѣдые туманы
Запутались въ голыхъ вѣтвяхъ
Легли на поляны.

Онъ смерти теперь ожидалъ:—
Отчаянья полный,
Въ холодномъ туманѣ стоялъ
Угрюмый, безмолвный.

Неслышно она подошла:
Въ ночь снѣгомъ пушистымъ
По темнымъ оврагамъ легла,
По соснамъ вѣтвистымъ.

Вездѣ воцарилась она
И въ саванѣ бѣломъ
Всесильная бродитъ одна
Въ лѣсу опустѣломъ.

И лѣсъ и поля,—все кругомъ
Въ ея обладаньи:
Все—мертвымъ покоится сномъ,
Все—смерти молчанье.

Узники.

Въ пещерѣ мрачной, гдѣ всегда царитъ
Глухая ночь, куда не проникаетъ
Ни солнца лучъ, ни кроткихъ звѣздъ мерцанье,—
Томимся мы въ суровомъ заточеньи.
Надъ нами, вмѣсто неба голубого,
Во мракѣ безпросвѣтномъ утопая,
Нависли своды каменные... Ночь,
Нѣмая ночь безвыходной могилы...
Костры горятъ и пламенемъ багровымъ
Зловѣще наши лица озаряютъ.
Одни сидятъ вокругъ огней и тупо
Глядятъ на пламя. Въ ихъ глазахъ, погасшихъ
Отъ жгучихъ слезъ, застыло выраженье
Покорности безропотно-безсильной
И темныхъ думъ, не знающихъ покоя.
Другіе бродятъ отъ костра къ костру,
Какъ скорбныя тоскующія тѣни,
Порою остановятся и долго
Глядятъ передъ собой въ глухую тьму,
Грозятъ ей кулаками и кричатъ

Безсмысленныя, дикія проклятья,
Потомъ на камни падаютъ со стономъ
И судорожно, изступленно бьются
Въ рыданіяхъ отчаянныхъ... А ночь
Глядитъ на всѣхъ безстрастная, глухая
Къ проклятіямъ и стонамъ. Только эхо
Изъ черной тьмы, изъ глубины пещеры,
Какъ будто издѣваясь, отвѣчаетъ
На скорбный стонъ такимъ же скорбнымъ стономъ...

Л. Андрусонъ.

* * *

Много думъ зарождалось во мнѣ бѣлоснѣжныхъ и ясныхъ,
Чистыхъ пѣсенъ о счастьѣ въ безбрежной вечерней тиши,
И, казалось, звучали онѣ и въ аккордахъ согласныхъ
Плыли къ небу, какъ жалобы тихой и робкой души.

Было такъ хорошо вспоминать о прошедшемъ украдкой,
Безъ конца повторять одинокое слово „прости“,
Безотчетно томиться задумчивой, вѣчной загадкой
О скитаньѣ унылом, о сѣромъ житейскомъ пути.

Я любилъ эти пѣсни—мелодію слезъ одинокихъ,
Я любилъ эти думы—молитвы весеннихъ ночей.
Ты меня не узнаешь безъ нихъ, безучастно далекихъ.
Такъ далекихъ, какъ первый вѣнокъ на могилѣ моей.

Я обманутъ, обманутъ! И плакать хочу я безцѣльно.
И безъ вѣры молиться, томительно долго любить...
Если-бъ жизнь научила меня ненавидѣть смертельно,
Если-бъ могъ я ошибокъ своихъ самъ себѣ не простить!

---

* * *

Ты знаешь, ты помнишь, какъ нѣжны цвѣты голубые,
Цвѣты голубые, какъ свѣтлые глазки ребенка.
Нарядным и яркимъ цвѣтамъ безразлично чужіе,
Они распустились въ травѣ ароматной и тонкой.

Лазурное утро ихъ кротко и ясно любило.
Баюкалъ ихъ вечеръ прозрачнымъ и чистымъ желаньемъ,

И ночь ихъ ласкала несбыточно-страннымъ мечтаньемъ,
Наивныя сказки о звѣздахъ своихъ говорила.

Но жить невозможно для тѣхъ, кто нѣжнѣе печали,
Для тѣхъ, кто прекраснѣй чарующихъ пѣсенъ разсвѣта.
Они умирали—жемчужины свѣтлаго лѣта,
И яркимъ нарядным цвѣтамъ ничего не сказали.

Дрожащія тѣни невѣрно и робко блѣднѣли,
И таяли рѣчи, и рѣчи звучали иныя.
Ты знаешь, ты помнишь, какъ нѣжны цвѣты голубые,
Цвѣты, что сказать, умирая, „прости“ не умѣли.

В. Башкинъ.

* * *

Звѣзды каплями дрожали въ голубѣющей дали;
Боги съ неба ихъ бросали и добросить не могли.
Весь охваченный тяжелой, неподвижностью зимы,
Садъ, безпомощный и голый, замеръ въ холодѣ тюрьмы.
Клены голые дрожали, пряча корни въ глубь земли,
Вешней ласки ожидали и дождаться не могли.
А вверху огни горѣли дальней сказочной страны,
Точно тайною владѣли вѣчной жизни и весны.
И надъ кленами сіяли звѣзды, чуждыя земли,
И безпомощно дрожали, и помочь имъ не могли.

* * *

Впереди колеблются ступени,
Небеса окутываетъ мгла,
Темный путь загадкой облекла
Красота предчувствій и видѣній.
Мы пойдемъ по лѣстницѣ крутой,
Все впередъ и все рука съ рукою,
Мы сольемся съ этой темнотою,
Сочетаемъ правду съ красотой.
Зацвѣтутъ намъ сказки тишины,
Улыбнется міръ счастливыхъ пѣсенъ,
Будетъ онъ какъ молодость чудесенъ,
Какъ любовь, прекрасны будутъ сны.
Мы проникнемъ въ царство вдохновеній,
Мы сорвемъ блаженные цвѣты...
Красота и правда тамъ слиты
И дрожатъ таинственно ступени...

Л. М. Василевскій.

„Не убей!“

„Не убей!“ съ высотъ Синая
Заповѣдалъ людямъ Богъ,
И, казалось, въ этомъ словѣ
Братства общаго залогъ.

—

„Убивай!“ сказалъ разбойникъ,
Соблазнясь чужимъ добромъ,
И на злое душегубство
Алчно вышелъ съ топоромъ.

—

„Убивай!“ сказалъ политикъ,
Охраняя „честь“ страны—
И потоки крови люди
Льютъ подъ знаменемъ войны.

—

„Убивай!“ въ защиту жизни
Правосудіе зоветъ—
И „преступники“ восходятъ
На законный эшафотъ.

—

А съ высотъ святыхъ Синая
Грустно смотритъ на людей,
Обагренныхъ братской кровью,
Божье слово „не убей“!

Петръ Вейнбергъ.

* * *

Одинъ, опять одинъ... Сердито вѣтеръ воетъ.
Шумитъ на крышѣ дождь, стучитъ ко мнѣ въ окно...
Молчитъ мой умъ. Душа тоскливо ноетъ...
А впереди все пусто и темно.
Нѣтъ сна... Встаетъ картина за картиной, —
То мрачный сводъ тюрьмы, то дѣтскіе года,
Борьба съ нуждой и пошлою рутиной,
Дни долгіе сомнѣній и труда;
То образъ твой страдальческій и милый
Съ вопросомъ Гамлета въ задумчивыхъ очахъ...
То вижу я „великія могилы“
И братьевъ, гибнущихъ въ неволѣ и цѣпяхъ..
То стонъ мнѣ слышится .. Измученныя лица,
Цынга, голодный тифъ, страданья крикъ глухой...

. . . . . .

Кровавыхъ дней зловѣщія страницы.
Какъ призраки, витаютъ надо мной...
Мой мозгъ горитъ. Душа въ чаду сомнѣній...
Безсиленъ умъ. Нѣтъ вѣры, силы нѣтъ...
Мучительны тяжелыя видѣнья...
Кругомъ темно. Далекъ еще разсвѣтъ...

Арк. В—ій.

У ручья.

По лужкамъ зеленымъ,
По камнямъ, оврагамъ,
Пѣнясь и сверкая,
Вьется онъ зигзагомъ
Въ яркомъ блескѣ, жгучемъ,
Солнечныхъ лучей.
Вольный и несущій
Вѣянье прохлады,—
Что ему угрозы?
Что ему преграды?
Синій и прозрачный,
Радостный ручей!

И надъ нимъ, склонившись
Въ сумрачномъ молчаньи,
Кто-то, неподвижный,
Въ долгомъ созерцаньи
Ловитъ жаднымъ взоромъ
Безконечный бѣгъ.
Истомленный мукой
Вѣчнаго разлада,
Все ему—угроза,
Все ему—преграда!
Скорбный и безвольный,
Жалкій человѣкъ...

1904 г.
Кисловодскъ.

Три тѣни.

Три тѣни надъ бездной стоятъ.
Подъ ними реветъ водопадъ,
Свергаясь все внизъ, и все внизъ.
Надъ ними—играетъ заря,
На снѣжныхъ вершинахъ горя,
Какъ золото кованныхъ ризъ.

И молвила первая тѣнь:
„Была я, какъ солнечный день.
И въ мірѣ ничтожныхъ заботъ
Мнѣ было завѣтомъ: лети,
Не зная уклона съ пути,
Все выше, все прямо, впередъ!.“

Вторая промолвила тѣнь:
„Мнѣ былъ ненавистенъ твой день.
Темна, какъ безлунная ночь,
Я вся—ненасытная страсть,
Мнѣ милы насилье и власть,
И жалость прогнала я прочь“...

И третья промолвила тѣнь:
„А я—и не ночь, и не день.
Я—сумерки жизни земной.
Что—ваши святыя дѣла,
Что—бездны великаго зла!
Ничтожна ихъ власть надо мной“...

И въ пропасть одна понеслась,
И въ небо другая взвилась.
Лишь третья все тамъ же, одна...
Надъ нею вершины горятъ,
Подъ нею реветъ водопадъ,
И грозная бездна темна...

1904 г. *А. М. Вербовъ.*

Въ лѣсахъ.

Вокругъ меня столѣтніе лѣса,
Нѣтъ выхода и нѣтъ освобожденья.
Они, какъ жизнь, не знаютъ снисхожденья,—
Туманятъ взоръ, скрываютъ небеса.

Какъ ночь, нависли вѣтки, гнутся внизъ,
Молчатъ иль ропщутъ, вѣтру подражая,
Даритъ имъ голосъ птицъ залетныхъ стая,
Туманы шлютъ обрывки влажныхъ ризъ.

Я на коврѣ ихъ травъ темнозеленыхъ
Не сплю, но вижу чащи пестрый сонъ:
Умолкъ весенній гулъ и лѣтній звонъ,
Слетаетъ листъ съ деревъ опустошенныхъ,
Свѣтлѣе сѣть, темнѣе тѣнь вѣтвей,
И взоръ небесъ открытѣй и мертвѣй.

Л. Вилькина.

* * *

Я вѣрю, что въ каждомъ таится призванье живое...
И страшно мнѣ видѣть безжизненно-тусклыя лица.
Что скрыло ихъ души въ холодномъ и праздномъ покоѣ?..
Какихъ безотвѣтныхъ, унылыхъ невзгодъ вереница?

Я вѣрю, что каждый стремился къ судьбѣ заповѣдной...
Я вижу, они истомились въ глухомъ напряженьи...
И вотъ — не узнаютъ мечты вдохновенно-побѣдной,
И будетъ смѣшна ихъ улыбка и жалко волненье.

* * *

Душою привѣтною тихую душу узнать,
Увидѣть призванье, сокрытое въ ней, молодое,
Свободнымъ и чуткимъ вопросомъ ее взволновать —
Вотъ счастье прекрасное, ярко-живое!
Возвысить надъ всѣмъ, что плѣняющимъ чуждо мечтамъ;
Вести къ торжеству заповѣдныхъ стремленій—
Вотъ гордое счастье, доступное тѣмъ лишь сердцамъ,
Чья жизнь благородныхъ и вѣщихъ полна вдохновеній!

Вл. Волькенштейнъ.

Сѣверныя картины.

I.

Дали мертвы и тусклы. Утро гаситъ ночную звѣзду.
Напряженные мускулы тянутъ сани по льду.
Берегъ ближе и ближе
Сквозь молочный туманъ.
Скоро сосны увижу
Блѣдныхъ сѣверныхъ странъ.

—

Льды свѣтлы и узорны. Вотъ и сѣрый маякъ недалекъ.
Хрипло каркаютъ вороны. Вьется дальній дымокъ.
Въ бѣлоснѣжномъ уборѣ,
Въ дымкѣ свѣтлыхъ небесъ—
На пустынное море
Смотритъ сѣверный лѣсъ.

II.

На вѣтвяхъ свисаетъ иней.
Стынетъ скорбная земля.
Въ красотѣ морозно-синей
Спятъ вечерніа поля.
Сны безжизненно—случайны.
Утомленъ лѣнивый взглядъ.
Какъ намеки чуждой тайны,
Звѣзды блѣдныя горятъ.

* * *

Дыханіе прохлады.
Безоблачная высь.
И звѣзды, какъ лампады,
Молитвенно зажглись.
О днѣ, сгорѣвшемъ пышно,
Раскаяньемъ дыша,
Заплакала неслышно
Усталая душа.

Яковъ Годинъ.

Слеза и блѣдная улыбка,
Какъ серебристый тихій лучъ,
Что изъ-за грозныхъ темныхъ тучъ
Скользитъ по глади зыбкой.
Короткій и зловѣщій громъ,
И тишь висящая тоскливо,
Туманъ, давящій мысль кругомъ...
Какъ яркой молніи извивы—
Желаній вспышка, мгла опять;
Изъ полусгнившихъ старыхъ зданій
Смѣхъ звонкій и порывъ рыданій.
Вотъ люди... точно съ боя рать,
Бѣгущая въ разбродъ, нѣмая—
Снуютъ и мечутся, не зная
Въ безуміи зачѣмъ, куда.
А вотъ блистаютъ города,
Населены всѣ мертвецами,
Что жизнію живыхъ живутъ...
И все: борьба дѣтей съ отцами,
Мигъ ропота, бряцанье путъ—
Да, все—отъ атома до міра,
Любовь, забота, страсть, мечта,
Побѣды кликъ, веселье пира,
Земная красота.
Лохмотья жалкія, порфира—
Все это дымъ и суета.
А ты глядишь на все печальный,

Желая вѣрить въ міръ иной,
Грядущій, чистый міръ хрустальный,
Гдѣ жизнью заживутъ одной
Всѣ люди, всѣ... Глядишь, печальный
Туда, въ просторъ,
Какъ изъ-за горъ
Глядитъ заката лучъ прощальный.

И. Гриневская.

---

* * *

Воздушный, блѣдно-алый,
Закатный полусвѣтъ...
Я шлю душой усталой
Отжившему привѣтъ!
Изнемогаю сладко
Въ безсиліѣ роковомъ!—
А вечеръ—какъ загадка
Въ мерцаньѣ неживомъ.
Свершились измѣненья
Земного бытія.
Дремотнаго забвенья
Душою жажду я.
Что было—то отжило...
Другимъ—зачатья дня!..
И ночь заворожила
Усталаго меня.

* * *

Тихо ночка темнокрылая
Пролетаетъ надъ землей,
Гдѣ-то льется пѣснь унылая,
Омраченная слезой.

Подожди, пѣвецъ тоскующій:
Ночка темная пройдетъ,
И, воскреснувъ, день ликующій
Людямъ счастье принесетъ.

Отдохнетъ земля усталая,
Околдованная сномъ,
И заблещетъ зорька алая
Въ небѣ ясно-голубомъ.

* * *

Утренніе звоны длинны, монотонны,
Въ сумракѣ ненастья льются съ вышины,
Словно кто-то грустный скорбью похоронной
Мѣрно ударяетъ въ сердце тишины.

Выйдешь за ворота—въ улицѣ дремота,
Сѣренькое утро думаетъ—груститъ,
Спятъ еще деревья, въ листьяхъ—позолота,
Запахъ увяданья въ воздухѣ стоитъ.

Въ улицѣ пустынно; вереницей длинной
Зданья и заборы тонутъ въ сизой мглѣ;
Воздухъ словно затканъ сѣрой паутиной.
Тихо тлѣютъ листья на сырой землѣ.

Никого не видно. Грустно и обидно.
Никого не слышно. Только съ вышины
Льется звонъ печальный, словно панихидный,
Ударяя скорбью въ сердце тишины.

Льется безконечно, о печали вѣчной
Навѣвая грустный и туманный сонъ,
Вѣстникъ безнадежный тишины предвѣчной.—
Утренній, осенній, однозвучный звонъ...

Бл. Ленскій.

Въ Крыму.

1.

Вѣетъ влагою синее море
На горячій полуденный зной.
Въ бѣломъ гребнѣ—въ жемчужномъ уборѣ
Набѣгаетъ волна за волной.

Вьются чайки, но шумнымъ прибоемъ
Заглушаются ихъ голоса,
А вдали все объято покоемъ
И на море сошли небеса...

По садамъ и по горнымъ извивамъ,
Гдѣ бъ ни палъ очарованный взглядъ,—
Тонки станомъ, въ нарядѣ красивомъ
Кипарисы рядами стоятъ.

И весь берегъ глухимъ полукругомъ
Опоясали горы вдали,
Чтобы зимнимъ бушующимъ вьюгамъ
Не достигнуть цвѣтущей земли!

2.

И море, и солнце... Какъ дивенъ просторъ!
Мы бросили весла, поднявъ паруса,
И яликъ, какъ бѣлая чайка, летитъ...
Ряды кипарисовъ и выступы горъ
Далеко; надъ ними темнѣй небеса,
А здѣсь, Боже мой,—какъ все ярко блеститъ!

Отъ влаги соленой и плещущихъ волнъ,
Отъ жгучаго солнца и шири морской
Легко мнѣ дышать и сіяетъ мой взоръ...
Жить страстно хочу я, надеждами полнъ,—
Не юность ли снова стоитъ предо мной...
И море, и солнце, и чудный просторъ!

А. Лукьяновъ.

Тѣмъ, кто печальны.

(Изъ Асныка).

Тѣмъ, кто печальны и въ сумракѣ дней
Гибнутъ, безмолвно страдая, —
Надо для сердца сіянья лучей
Вѣчно-прекраснаго края!

Не утолятъ ихъ слова мудреца,
Право бездушною властью
Не защититъ,—и стремятся сердца
Мощно къ великому счастью.

Надо имъ въ жизни небесныхъ утѣхъ,
Ангельскихъ взглядовъ сіянья,
Въ мірѣ печальномъ защиты для всѣхъ,
Вѣчной любви безъ страданья!

А. Лукьяновъ.

* *
*

Любить—это слушать нездѣшніе хоры
И рокоты арфъ неземныхъ,—
Постигнуть, что міръ—чьи-то близкіе взоры
И—міры, отраженные въ нихъ.

—

Любить—это ночью томиться беззвѣздной,
Грустить и не знать, что грустишь,—
Стоять одиноко надъ бездной, надъ бездной
И не знать, что надъ бездной стоишь.

—

Любить—это небо похитить у Бога
И небо за ласку отдать,—
Страдать такъ покорно, такъ много, такъ много,
Чтобы сердце устало страдать.

—

Любить—это падать и въ этомъ паденьи
Другого съ собою увлечь.
Любить—это бредить, сгорая въ мгновеньи,
И мгновенье зажечь!

Сергѣй Маковскій.

Тѣмъ, кто печальны.

(Изъ Асныка).

Тѣмъ, кто печальны и въ сумракѣ дней
Гибнутъ, безмолвно страдая, —
Надо для сердца сіянья лучей
Вѣчно-прекраснаго края!

Не утолятъ ихъ слова мудреца,
Право бездушною властью
Не защититъ, — и стремятся сердца
Мощно къ великому счастью.

Надо имъ въ жизни небесныхъ утѣхъ,
Ангельскихъ взглядовъ сіянья,
Въ мірѣ печальномъ защиты для всѣхъ,
Вѣчной любви безъ страданья!

А. Лукьяновъ.

* *
*

Любить—это слушать нездѣшніе хоры
И рокоты арфъ неземныхъ,—
Постигнуть, что міръ—чьи-то близкіе взоры
И—міры, отраженные въ нихъ.

—

Любить—это ночью томиться беззвѣздной,
Грустить и не знать, что грустишь,—
Стоять одиноко надъ бездной, надъ бездной
И не знать, что надъ бездной стоишь.

—

Любить—это небо похитить у Бога
И небо за ласку отдать,—
Страдать такъ покорно, такъ много, такъ много,
Чтобы сердце устало страдать.

—

Любить—это падать и въ этомъ паденьи
Другого съ собою увлечь.
Любить—это бредить, сгорая въ мгновеньи,
И мгновенье зажечь!

Сергѣй Маковскій.

Зачѣмъ.

Зачѣмъ мертвящимъ словомъ „нѣтъ“
Въ моей душѣ преображенной
Ты погасить хотѣла свѣтъ,
Тобою только что зажженный?
Ужели слишкомъ тяжела
Была слеза моей печали?
Ужели ты не поняла,
О чемъ слова мои звучали?
Въ тотъ часъ, какъ предъ тобой излилъ
Я грусть свободную поэта,
Молился я, но не молилъ,
Не вопрошалъ, не ждалъ отвѣта.
Я пораженъ былъ красотой
И счелъ побѣдой пораженье.
Далекой звалъ тебя звѣздой,
Благословляя отдаленье.
И еслибъ я въ тотъ часъ дерзнулъ
Восторгъ свой собственный встревожить
Пытливой мыслію—быть можетъ,
Тобой любуясь, я-бъ шепнулъ:
— Скажи: въ душѣ, гдѣ такъ безгласно,
Въ твоихъ желаньяхъ и мечтахъ—
Ужель свѣтло и такъ же ясно,
Какъ въ этихъ дѣвственныхъ глазахъ?
— Въ страданьяхъ, въ радости, въ бореньи
Всегда-ль ты чистая звѣзда?
Ужель ты правды воплощенье,
Не обѣщанье только?—да?

Н. М. Минскій

* * *

Медленно ночь наступала. Кругомъ
Пусто и мертвенно стало.
Море почило и лишь подъ рулемъ
Жизнью живой трепетало.
Рѣдкія звѣзды зажглись въ небесахъ,
Словно огни на далекихъ судахъ...
Тихо... На бортѣ все дремлетъ.
Только одинъ я не сплю, да со мной
Сердце мое въ этой безднѣ ночной
Голосу тайному внемлетъ:

Горе покинувшимъ берегъ родной,
Берегъ тоски и неволи;
Горе искавшимъ отчизны иной,
Чаявшимъ сладостной доли!
Вспомни, что кинулъ въ краю ты родномъ:
Голодъ и холодъ, и сумракъ кругомъ,
Рабства позорныя цѣпи!
Свей же свой парусъ! Вернись поскорѣй:
Пахарей ждутъ—своихъ вѣрныхъ дѣтей—
Родины бѣдныя степи.

Викторъ Оксъ.

Во дворѣ.

Дворъ—какъ темная могила,
Въ небѣ царственно-свѣтло.
Полночь влажная раскрыла
Звѣздотканное крыло.

Словно съ тягостнымъ укоромъ,
Въ этотъ сумракъ голубой
Домъ глядитъ стоокимъ взоромъ,
Разнозвучный и живой.

Выступъ крыши... окна, окна...
И за каждымъ—бредъ страстей,
Скуки цѣпкія волокна,
Трепетъ жизни безъ лучей.

Эта тяжкая громада
Тайны скорбныя хранитъ,
Погребеннаго въ ней клада
Хмурый рокъ не возвратитъ.

Много слезъ она покрыла
И стремленій погребла...
Дворъ—какъ темная могила,
Высь кристальная свѣтла.

И въ прозрачности воздушной,
Дышетъ сказками весны
Непонятный, равнодушный
Праздникъ звѣздной глубины.

М. Пожарова.

У окна.

Падаетъ снѣгъ на застывшую грязь.
Деревцо гнется... Поля за полями...
Хочется что-то сказать ей, смѣясь,
Что-то сказать, что не скажешь словами.

Чудится, ангелы блещутъ вѣнками,
Вяжутъ изъ розъ безконечную вязь.
Нѣтъ, это снѣгъ, это снѣгъ надъ полями,
Снѣгъ устилаетъ застывшую грязь.

Въ городѣ.

Среди суеты городской,
Изнывъ въ отчужденьи безмолвномъ,
Все чаще я внемлю душой
Далекимъ узывчивымъ волнамъ.

—

Здѣсь пыль и удушливый зной,
Здѣсь смутно-гнетущія стѣны,
А тамъ дуетъ вѣтеръ сырой
Съ простора сверканій и пѣны.

—

Здѣсь встрѣчный, коснувшись плеча,
Не смѣетъ взглянуть безъ утайки,
А тамъ грабятъ море, крича
Отъ брызгъ, захмелѣвшія чайки.

—

Какъ слились тамъ небо и шумъ
Растущихъ смятенныхъ прибытій
А сколько испытанныхъ думъ,
А сколько мгновенныхъ открытій.

—

Какъ жаль мнѣ себя и васъ всѣхъ,
Еще не успѣвшихъ изжиться.
Какъ жутко мнѣ слышать вашъ смѣхъ
И видѣть довольныя лица.

А. Рославлевъ.

* * *

— Зачѣмъ возрастаю?—
Снѣгурка спросила меня:
— Я знаю, что скоро растаю,
Лишь только увижу веселую стаю,
Растаю, по камнямъ звеня.
И ты позабудешь меня.—

Снѣгурка, узнаешь ты скоро,
Что таять легко;
Растаешь, узнаешь, умрешь безъ укора,
Уснешь глубоко.

Ѳедоръ Сологубъ.

Дни.

Гаснутъ одинъ за другимъ
Долгіе, хмурые дни...
Дождь за рѣшеткой ворчитъ...
Вспыхнули въ окнахъ огни.
Вѣтеръ гудитъ по ночамъ.
Утро въ туманѣ встаетъ.
Сердце больное тоска
Съ новой силой гнететъ.
Громче о счастьѣ быломъ
Брежу въ болѣзненныхъ снахъ...
Призракъ любимый яснѣй
Вижу въ тревожныхъ мечтахъ.
Частыя капли дождя
Въ стекла сильнѣе стучатъ,
Тѣсныя стѣны тюрьмы
Все непривѣтнѣй глядятъ.
Тамъ—за рѣшеткой—туманъ..
Свѣтятся въ окнахъ огни.
Гаснутъ одинъ за другимъ
Долгіе, долгіе дни...

Взгляни: наше небо болѣзненно блѣдно
И дни утонули во мглѣ,
И хохотъ враговъ раздается побѣдно,
И падаютъ слезы и гибнутъ безслѣдно
Въ безплодной землѣ.
Ты слышишь, какъ вѣтеръ гуляетъ на волѣ
И шепчетъ, злорадно свистя:

„Не сыщетъ на свѣтѣ завиднѣе доли!“
Такъ вотъ почему эти пѣсни неволи
Такъ грустны, дитя.
Сквозь блеклыя краски въ нихъ призракомъ смутнымъ
Больное сомнѣнье сквозитъ,
Въ нихъ гнѣвъ изчезаетъ за сумракомъ смутнымъ,
И взоры твои лишь случайно минутнымъ
Огнемъ поразитъ.
И снова трепещетъ, грустя
О солнцѣ, цвѣтахъ, о привольѣ на волѣ
Такъ вотъ почему эти пѣсни неволи
Такъ блѣдны, дитя.
Я знаю, что тѣнь отъ сомнѣнья больного
На думу твою не падетъ,
Но знаю: не мало страданья глухого
Безъ воли, безъ счастья, безъ солнца родного
Съ тобою живетъ.
Лети же хоть въ снахъ золотыхъ изъ неволи,
Пусть вѣтеръ, травой шелестя,
Гуляя съ тобой по широкому полю,
Поетъ тебѣ дивныя пѣсни о волѣ,
Родное дитя!

Евг. Тарасовъ.

Звѣздамъ.

Въ небѣ печальнаго сѣвера,
Слово огни погребальные,
Свѣтятъ надъ мертвой равниною
Звѣзды—какъ сѣверъ печальныя.
Милыя, грустныя звѣздочки!
Вѣчныя жертвы молчанія
Въ небѣ плывете вы медленно
Мимо страстей и страданія...
Съ тихою лаской вы смотрите
Внизъ съ высоты неизмѣренной...
Много вы стоновъ услышали,
Много вамъ тайны довѣрено.
Пусть же къ вамъ тихо поднимается
Вверхъ моя дума тоскливая:
Вы никому не разскажете,
Звѣзды мои молчаливыя.
Глядя на землю уснувшую,
Вы межъ полями безкрайными
Видите городъ, закованный
Ужасомъ, смертью и тайнами.
Городъ тотъ зналъ меня юношей
Съ чистыми, яркими думами,
Свыкся я съ городомъ пасмурнымъ,
Свыкся съ тонами угрюмыми.
Годы прошли за работою,
Выросло чувство громадное.

Но изъ любимаго города
Взятъ я рукой безпощадною.
Взятъ—и заброшенный надолго
Въ царствѣ снѣговъ и молчанія,
Бережно чувство завѣтное
Прячу во мракѣ страданія.
Въ немъ—мои муки и радости:
Чуть только съ запада дальняго
Вѣтеръ примчится порывами
Въ край умиранья печальнаго—
Зовы въ томъ вѣтрѣ послышатся,
Дума мелькнетъ мимолетная,
Мигъ—и въ груди по утраченномъ
Плачетъ любовь безотчетная.
Мрачно, мертво настоящее...
Крики стремленія страстнаго
Будитъ у чуткаго плѣнника
Зовъ изъ далека прекраснаго...
Звѣзды мои молчаливыя,
Звѣзды безмѣрно далекія,
Слышитель думы завѣтныя,
Думы мои одинокія?...

ИЗЪ ИЗГНАНІЯ.

Тамъ и здѣсь.

Я долго тамъ пробылъ—внѣ доли свободной,
Подчасъ задыхаясь въ безцвѣтной тиши,
Живьемъ замурованный въ камень холодный,
Оторванный силой отъ близкой души.
Шагая отъ двери къ рѣшеткѣ желѣзной,
Я думалъ о волѣ—и былъ одинокъ.
И робкій разсвѣтъ послѣ ночи беззвѣздной
Я жадно встрѣчалъ и смотрѣлъ на востокъ.

Уснувшій у ногъ моихъ городъ великій
Былъ близокъ и странно далекъ отъ меня:
Я рвался туда, гдѣ безлюдный и дикій
Востокъ загорался отъ свѣтлаго дня.
Здѣсь—мертвый покой и безмолвіе гроба,
Здѣсь—ужасъ и смерть передъ ликомъ судьбы.
Тамъ—все таки воля, тамъ счастье, тамъ злоба
И ближе оттуда до жизни—борьбы!
И дни проползали неслышной змѣею—
А день долгожданный былъ все же далекъ.
Горѣли разсвѣты надъ сонной Невою,
И жадно смотрѣлъ я на яркій востокъ.
За тысячи верстъ отъ покинутой жизни,
Заброшенный въ ширь безконечныхъ снѣговъ,
Я слышу, какъ буря рокочетъ въ отчизнѣ,
И плещутся волны въ гранитъ береговъ,
И снова во мнѣ возникаютъ порывы,
И хочется снова упиться борьбой,
Увидѣть вулканы, провалы, обрывы
И мстить, и работать, и спорить съ судьбой.
А дни проползаютъ неслышно за днями,
Порывы все громче во мнѣ говорятъ,
Все чаще и чаще смотрю вечерами,
Какъ тлѣетъ на небѣ кровавый закатъ.
Тамъ солнце садится за ширью Печоры
И въ воздухѣ дымка мороза стоитъ.
Темнѣютъ угрюмые синіе боры,
И западъ далекій пожаромъ горитъ.

Евг. Тарасовъ.

Въ бѣлыя ночи.

И ночи бѣлыя, и бѣлые цвѣты...
Вишневый садъ—во всей красѣ убора,
Но нѣтъ душѣ свободнаго простора,—
Ее давно гнетутъ тревожныя мечты.

Повсюду грезятся слѣды нѣмой печали.
Задумчивой явилась къ намъ весна.
Она своимъ разсвѣтомъ смущена;
Ей стыдно пѣсенъ тѣхъ, что громко прозвучали...

И въ блѣдный робкій часъ, объятый тишиной,
Когда нѣжнѣй деревьевъ очертанья
И яркій цвѣтъ, будившій въ насъ желанья,
Теряетъ гордый видъ въ прозрачности ночной,—

Она проноситя чуть слышнымъ дуновеньемъ
И свѣтлыхъ ждетъ вѣстей издалека;
Но ихъ все нѣтъ, и сердце жметъ тоска,
И въ вѣчность падаетъ мгновенье за мгновеньемъ...

В. Умановъ-Каплуновскій.

Осень.

(Сонетъ).

Я вижу изъ окна: гирлянды облаковъ
Изъ слитковъ золотыхъ плывутъ по синевѣ.
Идетъ ихъ поздній блескъ желтѣющей листвѣ,
Печально-праздничной гармоніи цвѣтовъ.

Приходятъ сумерки. Ложатся по травѣ
И вѣютъ холодомъ покинутыхъ угловъ.
Деревьямъ жаль тепла. Небреженъ ихъ покровъ
Поблекшій, шелковый, въ причудливой канвѣ...

И прошлаго имъ жаль. И помнитъ старый садъ
Больную дѣвушку въ тѣни своихъ вѣтвей...
Былъ нѣженъ и глубокъ ея печальный взглядъ...

Пустынно и мертво тоскуетъ глушь аллей,
И въ золотѣ вершинъ дрожитъ послѣдній свѣтъ,
Какъ память о быломъ, чему возврата нѣтъ.

Дм. Цензоръ

Облако.

Средь утра тихаго въ весенніхъ небесахъ
Несется облако куда-то издалека,
И гаснетъ, и горитъ горячій лучъ востока
Въ серебряныхъ краяхъ.

Свободный гость небесъ, завиденъ жребій твой.
Сомнѣній и тоски тебѣ чужда тревога,
Лазурью для тебя окована дорога
Безстрастною судьбой.

Когда нибудь и я тоску земной мечты
Покину, какъ кошмаръ, какъ цѣпи роковыя,
И такъ же, можетъ быть, въ тѣ выси голубыя
Умчуся, какъ и ты.

Но все жъ мнѣ будетъ жаль, безумно жаль тогда
Родной земли моей ошибокъ и страданій
И горькихъ слезъ ея среди святыхъ желаній
И тяжкаго труда.

В. Н. Ладыженскій

Потокъ.

Лѣсной гигантъ загромаздилъ
Потокъ громадами ступеней,
И быстрый бѣгъ остановилъ
Того, кто съ гордостью поилъ
Орловъ и жаждущихъ оленей...
И сталъ потокъ. Едва сочась,
Волна свои журчала пени
И мутнымъ прудомъ разлилась,
Полна спокойствія и лѣни.
Но брызнулъ дождь. Потокъ прорвалъ
Громады дерзкія ступеней
И въ даль, свѣтлѣя, побѣжалъ
На радость жаждущихъ оленей.

II.

Посмотри: надъ той горою
Звѣзды факелы зажгли,
И отъ скалъ сѣдыхъ туманы
Опустились до земли.

Тишина, и сонъ, и нѣга,
И торжественный покой,
А вдали гремитъ и ропщетъ
Моря гнѣвнаго прибой.

Что жъ онъ плачетъ, негодуя,—
Иль завидуетъ землѣ,
Иль отнять цвѣты онъ хочетъ
Задремавшіе во мглѣ.

В. К. Ладыженскій

Двѣ Элегіи.

I.

Трепетали ночныя созвѣздія.
Крылья ночи на землю легли...
И молилъ я у неба возмездія
За великія скорби земли.

Гдѣ-то вѣтви сплетались терновыя,
И пылала святая тоска;
Гдѣ-то души лучистыя, новыя
Потушила слѣпая рука...
И пустынями, кровью залитыми,
Я дошелъ до родимыхъ руинъ—
И поникъ надъ могильными плитами,
Въ темнотѣ, побѣжденный, одинъ...

Трепетали ночныя созвѣздія.
Ночь была въ молчаливомъ краю...
И молилъ я у неба возмездія
За разбитую душу мою.

II.

Былъ поздній часъ въ исходѣ Сентября.
Въ чужомъ краю грустилъ я молчаливо.
Вдали закатъ пурпунностью горя,
Блѣднѣлъ и гасъ надъ надъ зеркаломъ залива.
А въ сторонѣ, какъ холмъ изъ янтаря,
Садъ облеталъ и грезилъ сиротливо...

Былъ тихій часъ въ исходѣ Сентября,
Когда вездѣ такъ грустно и красиво.

И вотъ потухъ вечерній небосклонъ.
И лунный дискъ планетою огромной
Надъ садомъ всталъ. Волшебный Оріонъ
Уже мерцалъ моей душѣ бездомной...
И жизнь моя казалась мнѣ—какъ сонъ,
Какъ марево безбрежности истомной...
Давно потухъ вечерній небосклонъ,
И стала даль загадочной и темной.

Я былъ тогда забытъ и одинокъ,
Въ пустынѣ дней гонимый ураганомъ...
Темнѣла ночь, и вѣтеръ заволокъ
Мерцанье звѣздъ и задышалъ туманомъ,
И, шелестя, ложился на песокъ
Засохшій листъ и мчался въ танцѣ странномъ...
И понялъ я, что духъ мой одинокъ,
Что жизнь была ошибкой и обманомъ.

Дмитрій Цензоръ.

Непримиримому.

Сонетъ.

Блаженъ, кому даны судьбою прихотливой
И сердце смирное и тихія мечты!
Въ пучинѣ бытія губительной и лживой
Найдетъ онъ сонъ любви и праздникъ красоты.

Онъ видитъ творчества небесныя черты
И въ безднѣ ужаса и тьмѣ несправедливой
И, забывая ночь, онъ славитъ день... Но ты,
Ты не таковъ, мой другъ, съ душой своей пытливой!

Паденье честнаго и радость наглеца,
Избранникамъ—краса лавроваго вѣнца,
Мильонамъ—вѣчный страхъ и жгучія страданья—

Все мысль твою гнететъ и давитъ безъ конца...
У трона вѣчности, въ обители Творца
Готовъ ты требовать всей жизни оправданья!

А. Черемновъ.

Frühlings Erwachen.

Чѣмъ-то тревожнымъ и влажнымъ повѣяло,
Въ рощѣ безлиственнной—трепетъ и гулъ,
Съ по́лночи градомъ и дождикомъ сѣяло,
Вѣтеръ морской потянулъ.

——

Къ сѣверу дикому съ юга прекраснаго
Онъ чрезъ долины и горы несетъ
Легкую зыбь дуновенія страстнаго:
Тянетъ куда-то, зоветъ...

——

Шепчетъ онъ рѣкамъ:—Разбейте холодныя,
Тяжкія зимнія цѣпи свои,
Къ морю несите—отнынѣ свободныя—
Свѣтлыя ваши струи!—

——

Шепчетъ онъ сушѣ:—Отъ сна запоздалаго
Къ счастью и къ свѣту проснися, земля!
Сѣтью фіалокъ и вереска алаго
Пусть запестрѣютъ поля.—

——

Шепчетъ могиламъ:—Утѣшьтесь, забытыя,
Солнышко взглянетъ на васъ съ высоты,
Будутъ надъ вами, травой перевитые,
Плакать росою цвѣты!—

Пробужденіе.

Дни идутъ на прибыль,
Ночи—на ущербъ,
Развернулись почки
Опушенныхъ вербъ.
Таетъ... Ненадеженъ
Хрупкій вешній ледъ,
Стаи журавлиной
Слышенъ перелетъ.
Въ небѣ рѣютъ точки...
Сколько ихъ! Не счесть.
Въ крикахъ стаи шумной—
Радостная вѣсть.
Тамъ надъ колокольней—
Первые грачи,
Изъ темницы дальней
Выбились ключи,
И гремятъ побѣдно
Вешнія струи
О борьбѣ великой,
О святой любви.

Изъ «зимнихъ сновъ».

Повѣяло покоемъ,
Безмолвіемъ и сномъ,
Кружатся бѣлымъ роемъ
Снѣжинки за окномъ,

— —

И ихъ полетъ неслышенъ,
И падаютъ онѣ,
Какъ цвѣтъ молочный вишенъ
Отъ вѣтра по-веснѣ.

— —

Землѣ куютъ морозы
Тяжелый гнетъ оковъ,
Но въ сердцѣ рѣютъ грезы
Какъ стая мотыльковъ.

— —

И въ этой равнодушной
Холодной тишинѣ
Онѣ толпой воздушной
Слетаются ко мнѣ.

Вечерняя печаль.

Въ раскрытое окно прохладой вѣетъ лѣтней,
Рыдаетъ тихими аккордами рояль,
И, словно въ ладъ, ему полнѣй и беззавѣтнѣй
Звучитъ въ душѣ моей вечерняя печаль.

—

Вечерняя печаль! Въ ней—грустная истома,
Прощальный мягкій блескъ блѣднѣющихъ огней;
Въ дни юности—чужда, она съ теченьемъ дней
Становится для насъ понятна и знакома.

—

Изъ глубины ея встаютъ: укоръ нѣмой,
Ошибка каждая и каждая утрата...
Еще горитъ вдали сіяніе заката,
Но мы уже дрожимъ предъ наступившей тьмой.

—

Нѣтъ, сердце дивную мечту не разлюбило,
Но гаснутъ силы въ немъ—тревожномъ и больномъ.
Пережитое все—дѣйстительно ли было?
Иль, можетъ быть, оно лишь свѣтлымъ было сномъ?

—

И какъ сливаются въ вечернемъ небѣ краски,
Какъ очертанія—въ прозрачной полутьмѣ,

Такъ впечатлѣнія слились теперь въ умѣ,
И я не отличу дѣйствительность отъ сказки.

—

На все печаль души набросила покровъ,
Неразрываемый покровъ воспоминаній,
И жаль мнѣ радостей, и жаль былыхъ страданій
Въ смягченномъ сумракѣ прозрачныхъ вечеровъ.

О. Чюмина.

Дорога.

Солнце палитъ нестерпимо
Жгучій, удушливый зной...
Тучи желанныя мимо,
Мимо плывутъ стороной.
Ѣду....— Сожженныя нивы,
Даль безпредѣльныхъ степей,
Сѣрой дороги извивы,
Бурый, колючій репей...
Дремлетъ природа безсильно.
Лошади еле бредутъ.
Жарко, и душно, и пыльно...
Грустныя думы гнетутъ!..

*
* *

Куда ни глянь—волнистымъ покрываломъ
Серебряный туманъ ползетъ по желтымъ скаламъ.
Забвенье, тишина... Земля угрюмо спитъ—
И только тамъ,— внизу,—волна кипитъ, кипитъ!

Больной, тоскующій въ толпѣ самодовольной,
Среди пустынныхъ скалъ, у волнъ стихіи вольной
Мечтою полонъ я—и вижу сквозь туманъ
Грядущей жизни свѣтлый океанъ!

*
* *

Изъ предрасвѣтнаго тумана
На берегъ прянула волна
И прозвенѣла, какъ струна,
Какъ голосъ чуднаго органа!
И вслѣдъ за ней волна другая
Земли тревожитъ тишину...
И гонитъ море вновь волну—
И льются звуки, расцвѣтая!

Поетъ божественный органъ,
Могучій гимнъ звучитъ все шире
О красотѣ, разлитой въ мірѣ,
О яркомъ солнцѣ южныхъ странъ!..

Н. Шрейтеръ.

Плѣнная царевна.

Взвейся громче, пѣснь свободы,
И разлейся надъ землей,
Какъ сверкающія воды
Ранней вешнею порой.

Долго ты въ оковахъ тяжкихъ задыхалась отъ безсилья
И безпомощно влачила полусломанныя крылья.
Ты терпѣла ужасъ пытокъ и насмѣшки палачей,
Молчаливо содрогаясь подъ ударами бичей.
Ты была въ своемъ безмолвьи гордой плѣнною царевной,
Затаившей, заглушившей возмущенья ропотъ гнѣвный,
Ты жила одною тайной, въ ней ловя надежды лучъ,
Ты въ себя забыла вѣрить: слишкомъ врагъ твой былъ могучъ.
И тебѣ давно казался смѣлый подвигъ несвершимымъ,
Мракъ темницы—безысходнымъ, стѣнъ оплотъ—несокрушимымъ.

*
* *

Подожди! Царевичъ близко: ужъ въ рукахъ его ключи.
Передъ нимъ падутъ оковы, разбѣгутся палачи.
Но не тайно—не во мракѣ, не ползя, какъ тать коварный,
Долженъ онъ къ тебѣ явиться въ день весенній, лучезарный,
Въ блескѣ власти, въ блескѣ силы, побѣдителемъ войти,
Все сметая безпощадно, что ни встрѣтитъ на пути.
— Выходи! тебѣ онъ скажетъ:—миновала тьма ночная,
Заблестѣло солнце правды, міръ великій озаряя!..
И какъ смѣлый, и какъ сильный, руку онъ подастъ тебѣ,
Чтобъ вести тебя на волю—къ счастью, къ жизни и къ борьбѣ.

Взвейся громче, пѣснь свободы,
И разлейся надъ землей,
Какъ бушующія воды
Яркой вешнею порой!

Fides—spes—amor.

Кто можетъ молиться—отраду найдетъ:
Чудесный покой есть въ смиренныхъ молитвахъ,
И вѣра смягчаетъ намъ жизненный гнетъ...
Но кто позабыть насъ заставитъ о битвахъ?..

. . . . . .

Сіяетъ въ лучахъ небосводъ голубой,
И лиліи чисты, и розы красивы;
Весна намъ приноситъ надежду съ собой...
Но кто же осушитъ кровавыя нивы?..

. . . . . .

О другъ мой, дай милую руку твою:
Любовь—это отблескъ далекаго рая;
Надъ міромъ царитъ ея воля святая...
Но кто возвратитъ намъ погибшихъ въ бою!..

Т. Щепкина-Куперникъ.

* *
*

Утро. Въ щель гардины властно проникаетъ,
Искрясь и сверкая, солнца первый лучъ.
Я открылъ окошко, надо мной сіяетъ
Сводъ небесъ безъ тѣни, облаковъ и тучъ.
На вѣтвяхъ деревьевъ нѣжный шопотъ слышенъ.
То колеблетъ вѣтеръ темные листы
И, какъ капли крови, опадаютъ съ вишенъ
На сухую землю зрѣлые плоды.
Шелестя крылами, пронеслася птичка,
Пролетѣла туча дерзкихъ воробьевъ.
И пошла по саду звонко перекличка,
Воркованье горлицъ, щелканье дроздовъ.
Почему-жъ съ улыбкой снова я не встрѣтилъ,
Какъ бывало прежде, утренній разсвѣтъ.
Развѣ день не также радостенъ и свѣтелъ,
И не шлетъ мнѣ солнце ласковый привѣтъ.
Нѣтъ, оно сверкаетъ ярко и безстыдно,
Расточая ласки жгучія кругомъ,
Но, когда на сердцѣ горько и обидно,
Намъ милѣе осень съ вѣтромъ и дождемъ...
Зналъ я, былъ увѣренъ, посѣтитъ ли горе—
Не подъ силу будетъ справиться съ тоской,
Маякомъ спасенья мнѣ въ житейскомъ морѣ,
Въ темной мглѣ забрежжетъ чистый образъ твой.
И къ тебѣ всѣмъ сердцемъ жадно я стремился,
Жилъ твоей печалью, раздѣлялъ мечты,

И прощать, и вѣрить у тебя учился,
Мысль была съ тобою, гдѣ бы ни былъ ты...
Тѣсно на кладбищѣ: тощія аллеи
На пескѣ рисуютъ кружевную тѣнь.
Роскошью кичатся плиты, мавзолеи,
Отцвѣла, увяла бѣлая сирень.
Огонекъ лампады тамъ и сямъ теплится,
Межъ крестами тѣнью скорбной промелькнетъ
Въ черномъ покрывалѣ блѣдная черница,
Тутъ вѣнокъ поправитъ, тамъ огонь зажжетъ,
И туда хочу я на твою могилу.
Вотъ она,—надъ свѣжимъ, рыхлымъ бугоркомъ
Липа молодая вѣтки опустила,
И склонилась кротко надъ твоимъ крестомъ,
Сонъ оберегая, навѣвая грезы;
На крестѣ лавровый умиралъ вѣнокъ,
Лиліи поникли, облетѣли розы,
Какъ слезу, роняя за листкомъ листокъ...
Какъ призывъ раздался благовѣсть унылый...
Я люблю мой грустный одинокій путь,
И лишь здѣсь могу я надъ родной могилой
Духомъ обновиться, сердцемъ отдохнуть.

Н. Янкевичъ-Платонова.

* *
*

Снѣгъ падаетъ безшумный и пушистый,
Снѣгъ падаетъ воздушно-серебристый,
Снѣгъ падаетъ и падаетъ съ утра...
Твое письмо... я милый голосъ слышу...
Снѣгъ падаетъ на улицу, на крышу...
Твоя любовь... Я вздохи сердца слышу...
Мнѣ грезится весенняя пора,
И все цвѣтетъ, и все благоухаетъ,
Веселый вѣтеръ яблони качаетъ...
Мнѣ голосъ твой поетъ, а лепестки
Летятъ, какъ снѣгъ, безшумны и легки.

А. Ѳедоровъ.

---

*

Fac-simile рукописей Чехова.

№ 1. Страница изъ разсказа „У знакомыхъ“ въ первой редакціи, присланной для набора. [1])

№ 2. Таже страница въ корректурѣ съ исправленіями автора.

---

[1]) Разсказъ этотъ, напечатанный въ 1898 г. въ журналѣ „Космополисъ“ не вошелъ въ изданія Маркса полнаго собранія сочиненій Чехова.

Он все целовался, по три раза, брал под руку, обни-
мал за талию, дышал в лицо, — совсем мягкий чело-
век; и это выражение в глазах, что ему что-то нужно
от Подгорского, что он о чем-то сейчас попросит,
производило такое впечатление, как будто он при-
целивался в него из револьвера.

Зашло солнце, стало темнеть. Вернулись домой и ст.
ужинать. Сергей Сергеич небрежно заткнул угол салфет-
ки за ворот, — подражая кому-то.

— Давайте выпьем, сказал он, наливая водки себе и По-
дгорскому. — Мы, старые студенты, читали и выпили, и красно
говорили, и мало делали. Пью за ваше здоровье, дружище,
а вы выпейте за здоровье старого дурака идеалиста [redacted]
[redacted] и пожелайте ему, чтобы он таким дураком и умер.

— Господа, довольно себя отравлять, сказала строго Варя. — Вы
алкоголики, я вижу. Маша, вели убрать водку.

Татьяна все время за ужином посматривала нежно
на мужа, ревнуя и беспокоясь, как бы он не сказал, или
не выпил чего-нибудь вредного. Ей казалось, что он избало-
ван женщинами, устал — это ей нравилось в нем и в то же
время она страдала. Варя и Надя тоже были нежны
и тоже смотрели на него с беспокойством, точно боялись,
что он вдруг встанет и уйдет от них. Вообще Сергей Сер-
геич имел большой успех у женщин. Он любил их рассуж-
дения, как...

~~[illegible]~~ Онъ ~~все~~ цѣловался, по три раза, бралъ подъ руку, обнималъ за талію, дышалъ въ лицо, ~~— совсѣмъ жидкій голубчикъ~~ и это выраженіе въ глазахъ, что ему что то нужно отъ Подгор~~скаго~~, что онъ о чемъ то сейчасъ попроситъ, производило ~~такое~~ впечатлѣніе, какъ будто онъ прицѣливался ~~въ него~~ изъ револьвера.

Зашло солнце, стало темнѣть. Вернулись домой и сѣли ужинать. Сергѣй Сергѣичъ небрежно ткнулъ уголъ салфетки за воротъ, — подражая кому то.

— Давайте выпьемъ, сказалъ онъ, наливая водки себѣ и Подгор~~скому~~. — Мы, старые студенты, умѣли и выпить, и красно говорить, и дѣло дѣлать. Пью за ваше здоровье, дружище, а вы выпейте за здоровье стараго дура~~ка~~ идеалиста и пожелайте ему, чтобы онъ такъ ~~дуракомъ~~ и умеръ.

~~— Господи, довольно себя отравлять, сказала строго Варя. — Вы алкоголики, я вижу. Таня, вели убрать водку.~~

Татьяна все время за ужиномъ посматривала нѣжно на мужа, ревнуя и безпокоясь, какъ бы онъ не съѣлъ, или не ~~выпилъ~~ чего нибудь вреднаго. Ей казалось, что онъ избало~~ванъ~~ женщинами, усталъ, — это ей нравилось въ немъ и въ то же время она страдала. Варя и Надя также были нѣжны съ нимъ и смотрѣли на него съ безпокойствомъ, точно боялись, что онъ вдругъ возьметъ и уйдетъ отъ нихъ. Вообще Сергѣй Сергѣичъ имѣлъ большой успѣхъ у женщинъ. Онѣ

ина

было мучительно.

то идеало — и все

и казалось, что он покроет сладким клеем и сейчас прилипнет к вам;

ина

тягостное.

мы

идеалистом — Горбатого могила исправит.

Когда он хотел налить себе вторую рюмку, Варя сделала сердитое лицо и сказала:

— Вы отравляете себя, Сергей Сергеич. Вы нервный, впечатлительный человек и легко можете стать алкоголиком. Таня, вели убрать водку.

По линии железной дороги, там и сям зажглись ог

чала читать:

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты,
А по бокам-то всё косточки русские..
Сколько их!

— Как дальше? Ах, Боже мой, забыла все!

Мы надрывалися под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной..

Она читала великолепным грудным голосом, с чувством, на лице у нее загорелся живой румянец и на глазах показались слезы. Это была прежняя Варя, Варя курсистка, и, слушая ее, Подгорин думал о прошлом и вспоминал, что и он сам, когда был студентом, знал наизусть много хороших стихов и любил читать их

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит..

Но дальше Варя не помнила.. Она замолчала и слабо и вяло улыбнулась, и после ее чтения зеленые и красные огни стали казаться печальными.

— Эх, забыла.

За то Подгорин вдруг вспомнил, — как-то случайно уцелело у него в памяти со студенчества, — и прочел тихо, вполголоса:

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную, —
Вынесет всё — и широкую ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только.

— Жаль только, — перебила его Варя, вспомнив, — жаль только,
жить ... не придется ни мне, ни тебе

Письма А. П. Чехова.

Изъ писемъ Дм. Вас. Григоровичу [1]).

28-го марта 1886 г.

Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовѣститель, поразило меня, какъ молнія. Я едва не заплакалъ, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокій слѣдъ въ моей душѣ. Какъ Вы приласкали мою молодость, такъ пусть Богъ успокоитъ Вашу старость, я же не найду ни словъ, ни дѣлъ, чтобы благодарить Васъ! Вы знаете, какими глазами обыкновенно люди глядятъ на такихъ избранниковъ, какъ Вы; можете поэтому судить, что составляетъ для моего самолюбія Ваше письмо. Оно выше всякаго диплома, а для начинающаго писателя оно гонораръ за настоящее и будущее. Я, какъ въ чаду. Нѣтъ у меня силъ судить, заслужена мной эта высокая награда, или нѣтъ. Повторяю только, что она меня поразила. Если у меня есть даръ, который слѣдуетъ уважать, то, каюсь передъ чистотою Вашего сердца, я доселѣ не уважалъ его. Я чувствовалъ, что онъ у меня есть, но привыкъ считать его ничтожнымъ. Чтобы быть къ себѣ несправедливымъ, крайне мнительнымъ и подозрительнымъ, для организма достаточно причинъ чисто внѣшняго свойства. А такихъ причинъ, какъ теперь припоминаю, у меня достаточно. Всѣ мои близкіе всегда относились снисходительно къ моему авторству и не переставали дружески совѣтовать мнѣ не мѣнять настоящее дѣло на бумагомаранье. У меня въ Москвѣ сотни знакомыхъ, между ними десятка два пишущихъ, и я не могу припомнить ни одного, который читалъ бы меня, или видѣлъ во мнѣ художника. Въ Москвѣ есть, такъ называемый, „литературный кружокъ“, таланты

---

[1]) Изъ коллекціи автографовъ московскаго театральнаго музея А. А. Бахрушина.

и посредственности всякихъ возрастовъ и мастей собираются разъ въ недѣлю въ кабинетѣ ресторана и прогуливаютъ здѣсь свои языки. Если пойти мнѣ туда и прочесть хотя кусочекъ изъ Вашего письма, то мнѣ засмѣются въ лицо. За пять лѣтъ моего шатанья по газетамъ я успѣлъ проникнуться этимъ общимъ взглядомъ на свою литературную мелкость, скоро привыкъ снисходительно смотрѣть на свои работы и — пошла писать! Это первая причина. Вторая — я врачъ и по уши втянулся въ свою медицину, такъ что поговорка о двухъ зайцахъ никому другому не мѣшала такъ спать, какъ мнѣ. Пишу все это для того только, чтобы хотя немного оправдаться передъ Вами въ своемъ тяжкомъ грѣхѣ. Доселѣ относился я къ своей литературной работѣ крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего разсказа, надъ которымъ я работалъ бы болѣе сутокъ, а „Егеря“, который Вамъ понравился, я писалъ въ купальнѣ. Какъ репортеры пишутъ свои замѣтки о пожарахъ, такъ я писалъ свои разсказы: машинально, полубезсознательно, ни мало не заботясь ни о читателѣ, ни о себѣ самомъ. Писалъ я и всячески старался не потратить на разсказъ образовъ и картинъ, которые мнѣ дороги и которые я, Богъ знаетъ почему, берегъ и тщательно пряталъ.

Первое, что толкнуло меня къ самокритикѣ, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я началъ собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки вѣры въ собственную литературную путевость у меня не было. Но вотъ нежданно-негаданно явилось ко мнѣ Ваше письмо. Простите за сравненіе, оно подѣйствовало на меня, какъ губернаторскій приказъ „выѣхать изъ города въ 24 часа“, т. е. я вдругъ почувствовалъ обязательную потребность спѣшить, скорѣе выбраться оттуда, куда завязъ.

Я съ Вами во всемъ согласенъ. Циничности, на которыя Вы мнѣ указываете, я почувствовалъ самъ, когда увидѣлъ „Вѣдьму“ въ печати. Напиши я этотъ разсказъ не въ сутки, а въ 3—4 дня, у меня бы ихъ не было.

Отъ срочной работы избавлюсь, но не скоро. Выбиться изъ колеи, въ которую я попалъ, нѣтъ возможности. Я не прочь голодать, какъ уже голодалъ, но не во мнѣ дѣло. Письму я отдаю досугъ, часа 2—3 въ день и кусочекъ ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы. Лѣтомъ, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дѣло. Поставить на книжкѣ мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно:

виньетка готова и книга напечатана. Мнѣ многіе петербуржцы еще до Васъ совѣтовали не портить книги псевдонимомъ, но я не послушалъ, вѣроятно, изъ самолюбія. Книжка моя мнѣ очень не нравится. Это винигретъ, безпорядочный сбродъ студенческихъ работишекъ, ощипанныхъ цензурой и редакторами юмористическихъ изданій. Я вѣрю, что, прочитавъ ее, многіе разочаруются. Знай я, что меня читаютъ и что за мной слѣдите Вы, я не сталъ бы печатать этой книги. Вся надежда на будущее. Мнѣ еще только 26 лѣтъ. Можетъ быть, успѣю что нибудь сдѣлать, хотя время бѣжитъ быстро. Простите за длинное письмо и не вмѣняйте человѣку въ вину, что онъ первый разъ въ жизни дерзнулъ побаловать себя такимъ наслажденіемъ, какъ письмо къ Григоровичу.

Пришлите мнѣ, если можно, Вашу карточку. Я такъ обласканъ и взбудораженъ Вами, что, кажется, не листъ, а цѣлую стопу написалъ бы Вамъ. Дай Богъ Вамъ счастья и здоровья и вѣрьте искренности глубоко уважающаго Васъ и благодарнаго А. Чехова.

Изъ письма къ Григоровичу, по черновому наброску, сообщенному М. П. Чеховымъ.

„Когда ночью спадаетъ съ меня одѣяло, я начинаю видѣть во снѣ громадные скользкіе камни, холодную осеннюю воду, голые берега,—все это неясно, въ туманѣ, безъ клочка голубого неба; въ унынiи и въ тоскѣ, точно заблудившійся, я гляжу на камни и чувствую почему-то неизбѣжность перехода черезъ глубокую рѣку; вижу я въ это время маленькіе буксирные пароходики, которые тащатъ громадныя барки, плавающія бревна... Все въ безконечности сурово, уныло, сыро. Когда же я бѣгу отъ рѣки, то встрѣчаю на пути обвалившіяся ворота кладбища, похороны своихъ гимназическихъ учителей. И въ это время весь я проникнутъ тѣмъ тяжелымъ, кошмарнымъ холодомъ, какой немыслимъ на яву и ощущается только спящимъ... Мнѣ кажется, что родись и живи я постоянно въ Петербургѣ, мнѣ снились бы непремѣнно берега Невы, Сенатская площадь, массивные фундаменты“...

Изъ писемъ А. Н. Плещееву. [1])

1887—1889 гг.

3-го августа 1887 г.

Милый и дорогой Алексѣй Николаевичъ, можете себѣ представить, я не заграницей и не на Кавказѣ, а вотъ уже двѣ недѣли одиноко сижу въ полуторарублевомъ номерѣ, въ татарско-парикмахерскомъ городѣ Ялтѣ. Ѣхалъ я заграницу, но попалъ случайно въ Одессу, прожилъ тамъ дней десять, а оттуда, проѣвъ половину своего состоянія на мороженомъ (было очень жарко), поѣхалъ въ Ялту. Поѣхалъ зря и живу въ ней зря. Утромъ купаюсь, днемъ умираю отъ жары, вечеромъ пью вино, а ночью сплю. Море великолѣпно, растительность жалкая, публика всплошную шмули, или больные. Каждый день собираюсь уѣхать и все никакъ не уѣду. А уѣхать надо. Совѣсть загрызла. Немножко стыдно сибаритствовать въ то время, когда дома не ладно. Уѣзжая, я оставилъ дома унылую скуку и страхъ.

Сіе письмо имѣетъ цѣль двоякую: 1) привѣтствовать Васъ и напомнить о своемъ многогрѣшномъ существованіи и 2) просить Васъ увѣдомить Анну Михайловну [2]), что разсказъ она получитъ отъ меня не позже 1-го сентября. Это уже рѣшеное дѣло, ибо разсказъ почти готовъ. Не смотря на жару и ялтинскія искушенія, я пишу. Написалъ уже на 200 цѣлковыхъ, т. е. цѣлый печатный листъ.

---

[1]) Отрывки изъ писемъ Антона Павловича — А. Н. Плещееву были напечатаны А. А. Плещеевымъ въ „Нов. Вр.“, „Словѣ“ и въ „Петерб. Дневникѣ театрала“. Здѣсь они приведены въ большей послѣдовательности, но порядокъ остается лишь приблизительнымъ, такъ какъ Чеховъ не обозначалъ года на своихъ письмахъ и, не имѣя полностью текста всѣхъ писемъ, очень трудно датировать ихъ точно. Извѣстно только, что всѣ они относятся къ тому времени, когда А. Н. Плещеевъ завѣдывалъ беллетристическимъ отдѣломъ въ журналѣ „Сѣверн. Вѣстникъ“, въ періодъ его изданія А. В. Сабашниковой, подъ редакціей А. М. Евреиновой (съ 1885—1889 г. послѣдній годъ А. М. Евреинова была и издательницей журнала, который съ 90 г. перешелъ къ Б. Б. Глинскому, а черезъ годъ къ Любовь Як. Гуревичъ). Вл. Г. Короленко сообщаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Чеховѣ, что онъ первый отъ имени редакціи журнала вступилъ въ переговоры съ А. П. объ его сотрудничествѣ въ „Сѣв. В.“ въ началѣ 1887 г. Дальнѣйшую переписку съ Чеховымъ велъ А. Н. Плещеевъ. Кромѣ уже напечатанныхъ писемъ здѣсь приведены еще пять неизданныхъ писемъ Алексѣю Николаевичу Плещееву, любезно сообщенныхъ для сборника его сыномъ А. А. Плещеевымъ.

[2]) А. М. Евреинова, издательница журнала «Сѣверный Вѣстникъ»

У меня сегодня радость. Въ купальнѣ чуть было не убилъ меня мужикъ длиннымъ тяжелымъ шестомъ. Спасся только благодаря тому, что голова моя отстояла отъ шеста на одинъ сантиметръ.

Въ Ялтѣ много барышень и ни одной хорошенькой. Много пишущихъ, но ни одного талантливаго человѣка. Много вина, но ни одной капли порядочнаго. Хороши здѣсь только море, да лошади-иноходцы. Ѣдешь верхомъ на лошади и качаешься, какъ въ люлькѣ. Жизнь дешевая. Одинокій человѣкъ можетъ отлично прожить здѣсь за 100 руб. въ мѣсяцъ.

Разсказъ, по случаю жары и скверная меланхолическаго настроенія, выходитъ у меня скучноватый. Но мотивъ новый. Очень возможно, что прочтутъ съ интересомъ.

Поклонитесь всѣмъ Вашимъ. Крѣпко обнимаю Васъ и пребываю, какъ всегда, искренно любящимъ Антуаномъ Потемкинымъ (прозвище, данное мнѣ Жаномъ Щегловымъ).

Кстати: что подѣлываетъ Жанъ? Все еще насилуетъ Мельпомену? Если увидите его, то поклонитесь [1]).

27 августа.

Отвѣчаю вамъ, дорогой Алексѣй Николаевичъ, на ваше послѣднее письмо.

Разсказъ для октябрьской книжки „Сѣвернаго Вѣстника“ непремѣнно будетъ. Размѣръ 1—2 листа. Авансъ едва ли понадобится; денегъ у меня нѣтъ, буду жить впроголодь, но постараюсь не брать денегъ впередъ, ибо авансы понадобятся лѣтомъ, когда я бездѣльничаю и нуждаюсь въ лишнихъ шальныхъ деньгахъ. Ради весеннихъ и лѣтнихъ дебошировъ стоитъ поголодать зимою.

5-го сентября буду уже въ Москвѣ. Тяжело туда ѣхать. Будь деньги, поѣхалъ бы въ Питеръ. Поклонъ Фаусека переданъ по назначенію.

Будьте здоровы, Вашъ душевно А. Чеховъ.

„Денегъ нѣтъ. О, ужасъ! Какъ только пріѣду въ Сумы, тотчасъ же сяду строчить мелочь. Я хочу взять у Анны Михайловны авансъ въ размѣрѣ пятисотъ (250 сейчасъ и 250 въ іюнѣ). Дастъ?“

14 сентября.

„Громы небесные и зубы крокодиловъ да падутъ на головы вашихъ враговъ и кредиторовъ, дорогой и милый Алексѣй Ни-

[1]) И. Л. Леонтьевъ-Щегловъ.

колаевичъ. Предпославъ Вамъ такое восточное и граціозное привѣтствіе, отвѣчаю на Ваше письмо нижеслѣдующее. На телеграмму Анны Михайловны я отвѣтилъ письмомъ, гдѣ умолялъ подождать до ноябрьской книжки; отвѣтъ я получилъ такой: „да будетъ по вашему желанію. Отложимъ“. Вы поймете всю цѣну и прелесть этого отвѣта, если вообразите себѣ г. Чехова, пишущаго, потѣющаго, исправляющаго и видящаго, что отъ тѣхъ революціонныхъ переворотовъ и ужасовъ, какіе терпитъ подъ его перомъ повѣсть, она не становится лучше ни на единый су. Я не пишу, а занимаюсь пертурбаціями. Въ такомъ настроеніи, согласитесь, не совсѣмъ удобно спѣшить печататься.

15 сентября.

Милый Алексѣй Николаевичъ, не велите казнить, велите слово вымолвить. Теперь вижу, что когда я обѣщалъ вамъ разсказъ для октябрьской книжки, въ моей головѣ перепуталась вся ариѳметика. Ѣдучи въ Москву, я рѣшилъ въ сентябрѣ писать для „Сѣв. Вѣстника“ кончить 1—2 октября и послать не позже 5-го октября. Вотъ это-то канальское „октября“ и перапуталось въ моей башкѣ съ „октябрьской“ книжкой. Начавъ писать въ началѣ октября, я никоимъ образомъ не могъ бы поспѣть къ той книжкѣ, которая печатается въ сентябрѣ. Прошу убѣдительно васъ и Анну Михайловну простить меня за разсѣянность. Въ ноябрьской книжкѣ разсказъ мой будетъ—это внѣ всякаго сомнѣнія (если не забракуете его). Я пишу его помаленьку, и выходитъ онъ у меня сердитый, потому что я самъ сердитъ ужасно.

Сегодня я написалъ Аннѣ Михайловнѣ, что разсказъ для „Сѣв. Вѣстника“ уже готовъ, и просилъ у нея позволенія подержать его у себя дома и не высылать ей до слѣдующей книжки. Я хочу кое-что пошлифовать и полакировать, а главное подумать надъ нимъ. Ничего подобнаго отродясь я не писалъ, мотивы совершенно для меня новые, и я боюсь, какъ бы не подкузмила меня моя неопытность. Вѣрнѣе, боюсь написать глупость.

4 октября.

„Дорогой и милый Алексѣй Николаевичъ, разсказъ для „Сѣвернаго Вѣстника“ переписанъ и посланъ въ редакцію. Утомился. Теперь жду гонорара. Весь сентябрь я сидѣлъ безъ денегъ, кое-какія вещички заложилъ и бился, какъ рыба объ ледъ; каждый сентябрь мнѣ круто приходится въ этомъ же году послѣ лѣтняго бездѣлья

и житья въ счетъ будущаго, сентябрь былъ для меня особенно мраченъ.

Прочитавши мой разсказъ, напишите мнѣ. Онъ вамъ не понравится, но васъ, и Анны Михайловны я не боюсь. Я боюсь тѣхъ, кто между строкъ ищетъ тенденціи и кто хочетъ видѣть меня непремѣнно либераломъ или консерваторомъ. Я не либералъ, не консерваторъ, не постепеновецъ, не монахъ, не индиферентистъ. Я хотѣлъ бы быть свободнымъ художникомъ и—только, и жалѣю, что Богъ не далъ мнѣ силы, чтобы быть имъ. Я ненавижу ложь и насиліе во всѣхъ ихъ видахъ, и мнѣ одинаково противны, какъ секретари консисторій, такъ и Н—чъ съ Гр—скимъ. Фарисейство, тупоуміе и произволъ царятъ не въ одиихъ только купеческихъ домахъ и кутузкахъ; я вижу ихъ въ наукѣ, въ литературѣ, среди молодежи... Потому я одинаково и не питаю особаго пристрастія ни къ жандармамъ, ни къ мясникамъ, ни къ ученымъ, ни къ писателямъ, ни къ молодежи. Фирму и ярлыкъ я считаю предразсудкомъ. Мое святая святыхъ—это человѣческое тѣло, здоровье, умъ, талантъ, вдохновеніе, любовь и абсолютнѣйшая свобода, свобода отъ силы и лжи, въ чемъ бы послѣднія двѣ ни выражались. Вотъ программа, которой я держался бы, если бы былъ большимъ художникомъ.

Въ своемъ письмѣ вы оказали моей повѣстушкѣ такой хорошій пріемъ, что я боюсь... Вы ждете отъ меня чего-то особенно хорошаго—какое поле для разочарованій! Робѣю и боюсь, что моя „Степь“ выйдетъ незначительной. Пишу я ее не спѣша, какъ гастрономы ѣдятъ дупелей: съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. Откровенно говоря, выжимаю изъ себя, натужусь и надѣюсь, но все-таки въ общемъ она не удовлетворяетъ меня, хотя мѣстами и попадаются въ ней „стихи въ прозѣ“. Я еще не привыкъ писать длинно, да и лѣнивъ. Мелкая работа меня избаловала. Кончу „Степь“ къ 1—5 февраля, не раньше и не позже. Пришлю ее непремѣнно на Ваше имя, такъ какъ, дебютируя въ толстыхъ журналахъ, я хочу просить Васъ быть моимъ крестнымъ батькой. Вамъ не придется ѣздить въ почтамтъ и засвидѣтельствовать повѣстку, такъ какъ вышлю я Вамъ посылку „съ доставкой“. Вы только заплатите четвертакъ, который я буду вамъ долженъ. Ради Бога, простите за безпокойство“.

„Моя „Степь“ похожа не на повѣсть, а на степную энциклопедію“

„Простите, дорогой Алексѣй Николаевичъ, что пишу на простой бумагѣ; почтовой нѣтъ ни одного листа, а ждать, когда принесутъ изъ лавочки, не хочется и некогда.

Большое Вамъ спасибо за то, что прочли мой разсказъ, и за Ваше послѣднее письмо. Вашими мнѣніями я дорожу. Въ Москвѣ мнѣ разговаривать не съ кѣмъ, и я радъ, что въ Петербургѣ у меня есть хорошіе люди, которымъ не скучно переписываться со мной. Да, милый мой критикъ, вы правы. Середина моего разсказа скучна, сѣра и монотонна. Писалъ я ее лѣниво и небрежно. Привыкнувъ къ маленькимъ разсказамъ, состоящимъ только изъ начала и конца, я скучаю и начинаю зѣвать, когда чувствую, что пишу середину. Правы Вы и въ томъ, что не таите, а прямо высказываете свое подозрѣніе: не боюсь ли я, чтобъ меня сочли либераломъ? Это даетъ мнѣ поводъ заглянуть въ свою утробу. Мнѣ кажется, что меня можно скорѣе обвинить въ обжорствѣ, въ пьянствѣ, въ легкомысліи, въ чемъ угодно, но только не въ желаніи казаться или не казаться. Я никогда не прятался. Если я люблю васъ, или Суворина, или Михайловскяго, то этого я нигдѣ не скрываю. Если мнѣ симпатична моя героиня Ольга Михайловна, либеральная и бывшая на курсахъ, то я этого въ разсказѣ не скрываю, что кажется достаточно ясно. Не прячу я и своего уваженія къ земству, которое люблю, и къ суду присяжныхъ. Правда, подозрительно въ моемъ разсказѣ стремленіе къ уравновѣшиванію плюсовъ и минусовъ. Но вѣдь я уравновѣшиваю не консерватизмъ и либерализмъ, которые не представляютъ для меня главной сути, а ложь героевъ съ ихъ правдой. Петръ Дмитричъ лжетъ и буфонитъ въ судѣ, онъ тяжелъ и безнадеженъ, но я не хочу скрыть, что по природѣ своей онъ милый и мягкій человѣкъ. Ольга Михайловна лжетъ на каждомъ шагу, но не нужно скрывать, что эта ложь причиняетъ ей боль. Украинофилъ не можетъ служить уликой. Я не имѣлъ въ виду П. Л., Христосъ съ Вами! П. Л. умный, скромный и про себя думающій парень, никому не навязывающій своихъ мыслей. Украинофильство Л.—это любовь къ теплу, къ костюму, къ языку, къ родной землѣ. Оно симпатично и трогательно. Я же имѣлъ въ виду тѣхъ глубокомысленныхъ идіотовъ, которые бранятъ Гоголя за то, что онъ писалъ не похохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и блѣдными

бездѣльниками, ничего не имѣя ни въ головѣ, ни въ сердцѣ, тѣмъ не менѣе, стараются казаться выше средняго уровня и играть роль, для чего и нацѣпляютъ на свои лбы ярлыки. Что же касается человѣка 60-хъ годовъ, то въ изображеніи его я старался быть осторожнѣ и кратокъ, хотя онъ заслуживаетъ цѣлаго очерка. Я щадилъ его. Это полинявшая, недѣятельная бездарность, узурпирующая 60-е годы; въ V классѣ гимназіи она поймала 5—6 чужихъ мыслей, застыла на нихъ и будетъ упрямо бормотать ихъ до самой смерти. Это не шарлатанъ, а дурачекъ, который вѣруетъ въ то, что бормочетъ, но мало или совсѣмъ не понимаетъ того, о чемъ бормочетъ. Онъ глупъ, глухъ, безсердеченъ. Вы бы послушали, какъ онъ во имя 60-хъ годовъ, которыхъ не понимаетъ, брюзжитъ на настоящее, котораго не видитъ; онъ клевещетъ на студентовъ, на гимназистокъ, на женщинъ, на писателей и на все современное, и въ этомъ видитъ главную суть человѣка 60-хъ годовъ. Онъ скученъ, какъ яма, и вреденъ для тѣхъ, кто ему вѣритъ, какъ сусликъ. Шестидесятые годы—это святое время, и позволять глупымъ сусликамъ узурпировать его значитъ опошлять его. Нѣтъ, не вычеркну я ни украйнофилки, ни этого гуся, который мнѣ надоѣлъ. Онъ надоѣлъ мнѣ еще въ гимназіи, надоѣдаетъ и теперь. Когда я изображаю подобныхъ субъектовъ или говорю о нихъ, то не думаю ни о консерватизмѣ, ни о либерализмѣ, а объ ихъ глупости и претензіяхъ.

———

„Что съ Вами, дорогой Алексѣй Николаевичъ? Правда ли, что вы хвораете?

Что къ лицу намъ, нытикамъ и дохленькимъ литераторамъ, то ужъ совсѣмъ не подобаетъ Вамъ, обладателю широкихъ плечъ... Я. П. Полонскій писалъ мнѣ, что у васъ бронхитъ и слабость по вечерамъ. Вѣроятно, вы простудились и, что не подлежитъ сомнѣнію, утомились. Вамъ нужно хотя на мѣсяцъ совлечь съ себя петербургскаго человѣка, махнуть на все рукой и обратиться въ бѣгство. Поѣздка на Волгу,—идея хорошая и здоровая. Свѣжій воздухъ, разнообразіе видовъ и отсутствіе стола съ дамскими рукописями помогутъ скорѣе и вѣрнѣе, чѣмъ Даверовы порошки. Поѣздка обойдется очень дешево, дешевле грибовъ; ѣда на пароходахъ не совсѣмъ плохая; сырость и туманы насъ не одолѣютъ, потому что мы будемъ тепло одѣты; къ тому же еще у Васъ подъ рукой будетъ

докторъ, хотя и плохой, но безплатный [1]). Серьезно, Вы подумайте и дайте себѣ слово не отказываться отъ задуманной поѣздки. Короленко увѣренъ, что Вы поѣдете...“

„На обѣщаніе помѣстить „Степь“ цѣликомъ и высылать журналъ, я отвѣчаю обѣщаніемъ угостить васъ отличнѣйшимъ донскимъ, когда мы будемъ ѣхать лѣтомъ по Волгѣ. Къ несчастью, Короленко не пьетъ, а не умѣть пить въ дорогѣ, когда свѣтитъ луна и изъ воды выглядываютъ крокодилы, такъ же неудобно, какъ не умѣть читать“.

6 марта, 1889.

Сегодня, дорогой Алексѣй Николаевичъ, я прочелъ двѣ критики касающіяся моей „Степи“: фельетонъ Буренина и письмо П. Н... [2]). Послѣднее въ высшей степени симпатично, доброжелательно и умно. Помимо теплаго участія, составляющаго сущность его и цѣль, оно имѣетъ много достоинствъ, даже чисто внѣшнихъ: 1) оно, если смотрѣть на него, какъ на критическую статейку, написано съ чувствомъ, съ толкомъ и съ разстановкой, какъ хорошій дѣльный рапортъ; въ немъ я не нашелъ ни одного жалкаго слова, чѣмъ оно рѣзко отличается отъ обычныхъ критическихъ фельетоновъ, всегда поросшихъ предисловіями и жалкими словами, какъ заброшенный прудъ водорослями; 2) оно до крайности понятно; сразу видно, чего хочетъ человѣкъ; 3) оно свободно отъ мудрствованій объ атавизмѣ, паки бытіи и проч.; просто и холодно трактуетъ объ элементарныхъ вещахъ, какъ хорошій учебникъ, старается быть точнымъ и т. д., и т. д., всего не сочтешь... Я прочелъ письмо П. Н. три раза и жалѣю теперь, что онъ прячется отъ публики. Среди журнальныхъ работниковъ онъ былъ бы очень не лишнимъ. Важно не то, что у него есть опредѣленные взгляды, убѣжденіе, міровоззрѣніе—все это въ данную минуту есть у каждаго человѣка,—но важно, что онъ обладеатъ методомъ; для аналитика, будь онъ ученый, или критикъ, методъ составляетъ половину таланта.

Завтра я поѣду къ П. Н. и предложу ему одну штуку. Я напомню ему двѣнадцатый годъ и партизанскую войну, когда бить француза могъ всякій желающій, не надѣвая военнаго мундира; быть можетъ, ему понравится моя мысль, что въ наше время когда лите-

---

[1]) А. П. Чеховъ.

[2]) Петръ Николаевичъ Островскій, родной братъ знаменитаго драматурга.

ратура попала въ плѣнъ двунадесяти тысячъ лжеученій, партизанская иррегулярная критика была бы далеко не лишней. Не захочетъ ли онъ, минуя журналы и газеты, выскочить изъ засады и налетѣть наскокомъ по-казацки? Это вполнѣ исполнимо, если вспомнить о брошюровочномъ способѣ. Брошюра теперь въ модѣ; она не дорога и легко читается. . . . . .

П. Н. мнѣ очень и очень понравился. Съ нимъ не только не скучно, но даже весело... Да, онъ годился бы въ критики! Онъ имѣетъ хорошее чутье, массу читаетъ, повидимому очень любитъ литературу и оригиналенъ. Я уловилъ нѣсколько оброненныхъ имъ опредѣленій, которыя цѣликомъ можно было бы напечатать въ учебникѣ „Теоріи словесности“. Послѣ того, какъ я поговорилъ съ нимъ о моемъ выкидышѣ „Ивановѣ“, я узналъ цѣну, какую имѣютъ для нашего брата такіе люди.

Былъ у меня П. Н. Ѣздили вмѣстѣ въ Третьяковскую галлерею. У меня онъ познакомился съ Короленко.

Я готовъ поклясться, что Короленко очень хорошій человѣкъ. Итти не только рядомъ, но даже за этимъ парнемъ весело.

Въ письмѣ къ Аннѣ Михайловнѣ я просилъ не вычеркивать въ моемъ разсказѣ ни одной строки. Эта моя просьба имѣетъ въ основаніи не упрямство и не капризъ, а страхъ, чтобы безъ помарки мой разсказъ не получилъ той окраски, какой я всегда боялся. Цѣлую васъ крѣпко и остаюсь сердечно любящимъ и преданнымъ

А. Чеховъ.

„Жажду прочесть повѣсть Короленко. Это мой любимый изъ современныхъ писателей. Краски его колоритны и густы, языкъ безупреченъ, хотя мѣстами и изысканъ, образы благородны. Хорошъ и Леонтьевъ. Этотъ не такъ смѣлъ и красивъ, но теплѣе Короленко, миролюбивѣе и женственнѣе. Только Аллахъ керимъ!—зачѣмъ они оба спеціализируются? Первый не разстается со своими арестантами, а второй питаетъ своихъ читателей только оберъ-офицерами. Я признаю спеціальность въ искусствѣ, какъ жанръ, пейзажъ, исторію, понимаю я амплуа актера, школу музыканта, но не могу помириться съ такими спеціальностями, какъ арестанты, офицеры, попы... Это ужъ не спеціальность, а пристрастіе. У васъ въ Питерѣ не любятъ Короленко, у насъ не читаютъ Щеглова, но я сильно вѣрю въ будущность обоихъ“.

„Что касается Короленко, то дѣлать какія либо заключенія о его будущемъ—преждевременно. Я и онъ находимся теперь именно въ томъ фазисѣ, когда фортуна рѣшаетъ, куда пускать носъ: вверхъ, или внизъ по наклону. Колебанія вполнѣ естественны. Въ порядкѣ вещей былъ бы даже временный застой.

Мнѣ хочется вѣрить, что Короленко выйдетъ побѣдителемъ и найдетъ точку опоры. На его сторонѣ крѣпкое здоровье, трезвость, устойчивость взглядовъ и ясный, хорошій умъ, хотя и не чуждый предубѣжденій, но зато свободный отъ предразсудковъ. Я тоже не дамся фортунѣ живой въ руки. Хотя у меня и нѣтъ того, что есть у Короленко, зато у меня есть кое-что другое. У меня въ прошломъ масса ошибокъ, какихъ не зналъ Короленко, а гдѣ ошибки, тамъ и опытъ. У меня, кромѣ того, шире поле брани и богаче выборъ; кромѣ романа, стиховъ и доносовъ я все перепробовалъ. Писалъ и повѣсти, и разсказы, и водевили, и передовыя, и юмористику, и всякую ерунду, включая сюда комаровъ и мухъ для „Стрекозы“. Оборвавшись на повѣсти, я могу приняться за разсказы; если послѣдніе плохи, могу ухватиться за водевиль—и этакъ безъ конца, до самой дохлой смерти. Такъ что при всемъ моемъ желаніи взглянуть на себя и на Короленко окомъ пессимиста и повѣсить носъ на квинту я все-таки не унываю ни минуты, ибо еще не вижу данныхъ, говорящихъ за или противъ. Погодимъ еще лѣтъ пять, тогда видно будетъ“.

„Значитъ, завтра у меня будетъ Короленко. Это хорошая душа. Жаль, что его „По пути“ ощипала цензура. Художественная, но замѣтно плѣшивая вещь (не цензура, а „По пути“). Зачѣмъ онъ отдалъ ее въ цензурный журналъ? Во-вторыхъ, зачѣмъ назвалъ „святочнымъ разсказомъ“.

Теперь о повѣсти. Вы предостерегаете меня отъ излишней отдѣлки, и боитесь, чтобы перестаравшись, я не сталъ холоденъ и сухъ. Это резонъ и большой резонъ, но исторія въ томъ, что рѣчь въ моемъ письмѣ шла вовсе не объ отдѣлкѣ. Я передѣлывалъ весь корпусъ повѣсти, оставивъ въ цѣлости только одинъ фундаментъ. Мнѣ не нравилась вся повѣсть, а не въ деталяхъ. Тутъ поневолѣ просидишь, вмѣсто одного мѣсяца, цѣлыхъ три. Вообще, повѣсть выйдетъ не изъ аховыхъ, критики только посомъ покрутятъ. Это я не скромничаю. Достоинства повѣсти: краткость и кое-что новенькое... Стало быть, повѣсть по случаю вашего отъѣзда будетъ послана на имя Анны Михайловны. Буду просить у нея авансъ.

---

24 сентября.

Это письмо, дорогой Алексѣй Николаевичъ, посылается на почту вмѣстѣ съ разсказомъ, на который я, наконецъ, махнулъ рукой и сказалъ ему: изыди отъ меня, окаянный, въ огнь скучной критики и читательскаго равнодушія. Надоѣло съ нимъ возиться. Называется онъ такъ: „Скучная исторія“ (изъ записокъ стараго человѣка). Самое скучное въ немъ, какъ увидите, это длинныя разсужденія, которыхъ, къ сожалѣнію, нельзя выбросить, такъ какъ безъ нихъ не можетъ обойтись мой герой, пишущій записки. Эти разсужденія фатальны и необходимы, какъ тяжелый лафетъ для пушки. Они характеризуютъ и героя, и его настроеніе, и его вилянье передъ самимъ собою. Прочтите голубчикъ и напишите мнѣ. Прорѣхи и пробѣлы вамъ виднѣе, такъ какъ разсказъ не надоѣлъ еще вамъ и не намозолилъ глазъ, какъ мнѣ.

---

10 февраля.

„Милый Алексѣй Николаевичъ, наконецъ я, пройдя огонь, воду и мѣдныя трубы, водворился въ Москвѣ и сижу тихо и смирно за своимъ столомъ. Помышляю о грѣхахъ, мною содѣянныхъ, о тысячѣ бочекъ вина, мною выпитыхъ, о визитахъ своихъ къ Галкину и проч., и проч. Въ одинъ мѣсяцъ, прожитый мною въ Питерѣ, я совершилъ столько великихъ и малыхъ дѣлъ, что меня въ одно и то же время нужно произвести въ генералы и повѣсить“.

„На меня сердятся мои петербургскіе друзья и знакомые. За что? За то, что я мало надоѣдалъ имъ своимъ присутствіемъ, которое мнѣ самому уже давно надоѣло. Успокойте ихъ умы, скажите имъ, что въ Петербургѣ я много обѣдалъ, много ужиналъ, но не плѣнилъ ни одной дамы, что я каждый день былъ увѣренъ, что уѣду вечеромъ съ курьерскимъ, что меня удерживали друзья и „Морской Сборникъ“, который мнѣ нужно было перелистать весь, начиная съ 1852 г. Живя въ Питерѣ, я въ одинъ мѣсяцъ сдѣлалъ столько, сколько не сдѣлать моимъ молодымъ друзьямъ въ цѣлый годъ. Впрочемъ, пусть сердятся.

„Пишу понемножку свой романъ. Выйдетъ ли изъ него что нибудь, я не знаю, но, когда я пишу его, мнѣ кажется, что я послѣ хорошаго обѣда лежу въ саду на сѣнѣ, которое только-что

скосили. Прекрасный отдыхъ. Ахъ, застрѣлите меня, если я сойду съ ума и стану заниматься не своимъ дѣломъ".

„Романъ значительно подвинулся впередъ и сѣлъ на мель въ ожиданіи прилива. Посвящаю его вамъ—объ этомъ я уже писалъ. Въ основу сего романа кладу я жизнь хорошихъ людей, ихъ лица, дѣла, слова, мысли и надежды; цѣль моя—убить сразу двухъ зайцевъ: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется отъ нормы. Норма мнѣ неизвѣстна, какъ неизвѣстна никому изъ насъ. Всѣ мы знаемъ, что такое безчестный поступокъ, но что такое честь—мы не знаемъ. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнѣе и умнѣе меня. Рамка эта — абсолютная свобода человѣка, свобода отъ насилія, отъ предразсудковъ, невѣжества, черта, свобода отъ страстей и проч.".

„Писать большое очень скучно и гораздо труднѣе, чѣмъ писать мелочь. Вы прочтете и увидите, какую уйму трудностей пришлось пережить моему неопытному мозгу".

„Романъ мой на точкѣ замерзанія. Онъ не сталъ длиннѣе.. Чтобы не остаться безъ гроша, спѣшу писать всякую чепуху. Для „Сѣверн. Вѣстн." дамъ повѣстушку въ ноябрѣ или октябрѣ, но романъ едва ли попадетъ на его страницы. Я такъ ужъ и порѣшилъ, что романъ будетъ конченъ года черезъ три-четыре".

„Пишу разсказы. Одинъ уже послалъ надняхъ Суворину, другой пишу помаленьку и шлифую. Лѣтомъ буду коптѣть надъ романомъ. Свой романъ посвящу я вамъ—это завѣщала мнѣ моя душа. Я вамъ еще ничего не посвящалъ въ печати, но въ мечтахъ и въ планахъ моихъ вамъ посвящена моя самая лучшая вещь.

Пьесъ не стану писать. Если будетъ досугъ, то сдѣлаю что нибудь пуръ-манже, но осень и зиму буду отдавать только белетристикѣ. Не улыбается мнѣ слава драматурга".

„Белетристика — покойное и святое дѣло. Повѣствовательная форма—это законная жена, а драматическая—эфектная, шумная, наглая и утомительная любовница".

„Смѣшно сказать, „Ивановъ“ и книжки сдѣлали меня рантьеромъ. Будь я одинъ, могъ бы прожить безбѣдно года два-три, лежа на диванѣ и пуская плевки въ потолокъ“.

„Моя повѣстушка можетъ теперь пѣть вмѣстѣ съ Прекрасной Еленой „Готова, готова“. Кончилъ ее и завтра посылаю. Скучна она, какъ статистика Сольвычегодскаго уѣзда“.

„Весь февраль я не напечаталъ ни одной строки, а потому чувствую большой кавардакъ въ своемъ бюджетѣ“.

„Спѣшу засѣсть за мелкую работу, а самого такъ и подмываетъ взяться опять за что нибудь большое. Ахъ, если бы вы знали, какой сюжетъ для романа сидитъ въ моей башкѣ! Какія чудныя женщины! Какія похороны, какія свадьбы! Если бъ деньги, я удралъ бы Крымъ, сѣлъ бы тамъ подъ кипарисомъ и написалъ бы романъ въ 1—2 мѣсяца. У меня уже готовы три листа, можете себѣ представить. Впрочемъ, вру: будь у меня на рукахъ деньги, я такъ бы завертѣлся, что всѣ романы полетѣли бы вверхъ ногами.

Въ ноябрѣ пріѣду въ Питеръ продавать свой романъ. Дешевле, какъ по 250 за листъ не уступлю. Продамъ и уѣду заграницу, гдѣ à la Худековъ, задамъ банкетъ лигѣ патріотовъ и угощу завтракомъ донъ-Карлоса, о чемъ, конечно, въ газетахъ будетъ спеціальная телеграмма.

Сердечный привѣтъ вамъ и Аннѣ Михайловнѣ. Послѣднее засѣданіе комитета прошло у насъ очень мирно и благополучно. Дѣла общества, по моему, идутъ превосходно. На конвертѣ я не буду писать „его высокоблагородію“; разрѣшите мнѣ это удовольствіе. Вы для меня не высокоблагородіе, а свѣтлость. Мои вамъ всѣ кланяются и шлютъ пожеланія. Пишите.

Вашъ А. Чеховъ.

---

17 октября.

Милый Алексѣй Николаевичъ, обращаюсь къ вамъ съ просьбой. На сихъ дняхъ Жанъ Щегловъ притащитъ къ вамъ мою одноактную пьесу „Калхасъ“ или „Лебединая пѣсня“. Нельзя ли прочесть ее въ Литературномъ Комитетѣ и пропустить. Достоинства въ пьесѣ отсутствуютъ; значенія ей я не придаю никакого, но дѣло въ томъ, что Ленскому хочется во чтобы то ни стало сы-

грать ее на Малой сценѣ. Прошу не столько я, сколько Ленскій. Если же не пропустите, то на томъ свѣтѣ вамъ достанется отъ Люцифера и аггеловъ его, я же лично ничего не буду имѣть противъ. Власть, юже даде вамъ Богъ, я почитаю и прекословить ей не стану. Если когда нибудь я буду членомъ комитета, то буду налагать veto безжалостно.

Безденежье одолѣло, вою волкомъ, но что дѣлать. На нѣтъ и суда нѣтъ. Попросите Анну Михайловну, чтобы она не безпокоилась.

Жоржъ уже былъ у васъ.

Въ Москвѣ нѣтъ ничего новаго. Скучно и грустно, и сѣро и свинцово...

Будьте здоровехоньки и поклонитесь вашимъ. Моя фамилія шлетъ вамъ свой привѣтъ. Вашъ А. Чеховъ.

27 ноября.

Здравствуйте, дорогой и милый Алексѣй Николаевичъ. Простите, что такъ долго не писалъ вамъ. Въ лѣности житіе мое иждихъ, опихся, безъ ума смѣяхся, объѣдохся, или выражаясь болѣе выспрянно, былъ малодушно погруженъ въ заботы суетнаго свѣта, ничего не дѣлалъ и никому не писалъ.

Съ чего начать. Начну съ Лѣшаго. Попасть въ толстый журналъ для пьесы—честь превеликая [1]); я благодарю, но прошу позволенія уклониться отъ этой чести, ибо пьеса моя, пока ее не дадутъ на сценѣ и не изругаютъ въ рецензіяхъ, для журнала не представляетъ цѣннаго матеріала и въ напечатаніи ея многіе справедливо узрятъ пристрастіе „Сѣв. Вѣстн.“ къ Чехову. Скажутъ: пьеса Чехова нигдѣ не шла и напечатана, почему же не печатаютъ тѣхъ пьесъ, которыя шли на сценѣ и имѣли успѣхъ. Это разъ. Во вторыхъ, я не считаю ту пьесу готовою для печати, которая еще не была исправлена на репетиціяхъ. Погодите, голубчикъ, время еще не ушло. Когда пьеса будетъ исправлена на репетиціяхъ, я обращусь къ вашей любезности, не дожидаясь приглашенія.

Что „Сѣв. Вѣстникъ“? Въ Москвѣ упорно держится слухъ, что онъ переходитъ къ Чуйко. Я конечно не вѣрю этому. Толстыхъ журналовъ въ Россіи меньше, чѣмъ театровъ и университетовъ; судьбою ихъ заинтересована вся читающая и мыслящая масса; за ними слѣдятъ, отъ нихъ ждутъ и проч. и проч. Ихъ поэтому надо

[1]) Чеховъ пишетъ о „Сѣверномъ Вѣстникѣ“

всячески оберегать отъ разрушенія—въ этомъ наша прямая обязанность. Вы писали мнѣ: будемъ держаться. Отвѣчаю: будемъ.

Мнѣ ужасно хочется поѣхать въ Питеръ; хочется повидаться съ вами, съ Суворинымъ, съ Жаномъ [1]), но меня пугаетъ тотъ милліонъ визитовъ, который я долженъ буду сдѣлать. Хорошо бы пріѣхать incognito. Суворинъ писалъ мнѣ, что онъ скоро будетъ въ Москвѣ. Если это вѣрно, то вернется онъ въ Петербургъ вмѣстѣ со мной.

У насъ три недѣли гостила Наташа Линтварева. Стѣны нашего комодообразнаго дома дрожали отъ ея раскатистаго смѣха. Завидное здоровье и завидное настроеніе. Пока она у насъ жила, въ нашей квартирѣ даже въ воздухѣ чувствовалось присутствіе чего-то здороваго и жизнерадостнаго.

Вы перевели пьесу Додэ и ставите ее у Абрамовой [2])? Говорятъ, что Абрамова уже не завѣдуетъ театромъ и что актеры составили изъ себя товарищество. Насколько это вѣрно, не знаю. Пьеса Додэ идетъ также у Горевой и у Корша.

Немировичъ Владиміръ говорилъ, что видѣлся съ вами. Мнѣ кажется, что сей Немировичъ очень милый человѣкъ и что современемъ изъ него выработается настоящій драматургъ. По крайней мѣрѣ съ каждымъ годомъ онъ пишетъ все лучше и лучше. Нравится онъ мнѣ и съ внѣшней стороны: прилично держится и старается быть тактичнымъ. Повидимому работаетъ надъ собой.

У меня въ головѣ скопленіе сюжетовъ. Столько накопилось всякой чепухи, что можно ожидать въ скоромъ времени обвала.

Какъ ваше здоровьѣ. Миновала ли васъ всеобщая influenza?

Всѣ мои любятъ васъ попрежнему и каждый день вспоминаютъ, какъ вы гостили у насъ на Лукѣ. Они кланяются. Сестра велитъ кланяться и Еленѣ Алексѣевнѣ.

Я тоже кланяюсь, крѣпко обнимаю васъ и, ожиданіи отъ васъ письмеца, пребываю душевно преданнымъ А. Чеховъ.

25 декабря.

Здравствуйте, милый Алексѣй Николаевичъ, поздравляю Васъ съ Рождествомъ и съ наступающимъ новымъ годомъ.

Впрочемъ, начну съ самаго начала. Былъ я какъ-то въ редакціи „Артиста“ и засталъ тамъ редактора, перелистывающаго

---

[1]) И. Л. Щегловъ.
[2]) Частный театръ въ Москвѣ.

Вашъ переводъ „Борьбы за существованіе“. Около редактора сидѣлъ еще кто-то, какой-то иксъ на манеръ редакціоннаго секретаря или Г-ва. Оба сидѣли и расуждали о томъ, что переводъ не будетъ напечатанъ. Боясь, чтобы они не наврали вамъ чего нибудь, я попросилъ позволенія сѣсть и написать вамъ о судьбѣ вашего перевода; будетъ напечатанъ переводъ Маттерна, которому давно уже было обѣщано, и меня удивляетъ эта безшабашная редакція, утруждавшая васъ и знавшая навѣрно, что вашъ переводъ не можетъ пойти. Я ихъ обругалъ. Теперь о театрѣ Абрамовой. Насколько я могу понять Соловцова съ братіей, „Борьбу“ они вовсе не будутъ ставить, хотя и врутъ, что поставятъ послѣ праздниковъ. Короче говоря, лучшій переводъ „Борьбы“ останется при пиковомъ интересѣ, что страшно возмущаетъ меня. Кромѣ вашего, мнѣ извѣстны еще три перевода, которые уже дѣлаютъ свое дѣло въ провинціи; переводы плохіе, языкъ драповый... Говорятъ, что переводъ, идущій у Корша, плохъ до смѣшного. Порядки, чертъ бы ихъ взялъ.

Получилъ я „Струэнзе“ [1]). Сердечно благодарю. Я прочелъ. Пьеса хорошая, но много въ ней красокъ, напоминающихъ нѣмецкую подносную живопись. Напримѣръ, сцены съ пасторомъ. Конецъ меня не удовлетворилъ. Но въ общемъ пьеса мнѣ понравилась. Россіи тоже нуженъ свой Струэнзе, какъ былъ когда-то нуженъ Сперанскій. Господа въ родѣ Ранцау попадаются у насъ изрѣдка среди предводителей дворянства, въ земствѣ, въ арміи, но въ Петербургѣ ихъ нѣтъ. Зато много Келлеровъ и придворныхъ дамъ, которыя одинаково вредны и безцвѣтны во всѣхъ дворахъ и во всѣхъ пьесахъ.

Я рвусь къ вамъ въ Петербургъ, но не могу выѣхать раньше собранія членовъ общества драматическихъ писателей, на которомъ я обязанъ присутствовать, какъ членъ комитета. Когда будетъ это собраніе, пока еще неизвѣстно. Должно быть, въ началѣ января. Ваше петербургское собраніе многаго не понядо и много напутало, такъ что и распутать трудно. Я жалѣлъ, что не поѣхалъ тогда въ Петербургъ; слѣдовало бы кому нибудь изъ членовъ комитета присутствовать у васъ на собраніи и дать разъясненія. При свиданіи, я разскажу вамъ, въ чемъ дѣло.

Мой „Лѣшій“ идетъ въ театрѣ Абрамовой, 27 декабря. Былъ я на репетиціи. Мужчины мнѣ понравились въ общемъ, а дамъ

---

[1]) Трагедія М. Безго, переводъ А. Н. Плещеева.

я еще не разглядѣлъ. Идетъ, повидимому, бойко. Актерамъ пьеса нравится. О печатаніи ея поговоримъ тоже при свиданіи. Насколько можно судить по репетиціи, пьеса шибко пойдетъ въ провинціи, ибо комическаго элемента достаточно, и люди все живые, знакомые провинціи.

Зима въ Москвѣ плохая, хоть плюнь. Снѣгу нѣтъ.

Всѣ мои здоровы, я тоже. Инфлуэнца прошла у всѣхъ. А вы какъ поживаете? Что ваши? Видаете ли Жана Щеглова?

Голова у меня болитъ. Поѣду погулять, подышать свѣжимъ воздухомъ.

Всѣ мои кланяются. Сестра шлетъ свой привѣтъ и поздравленіе. Я кланяюсь всѣмъ вашимъ и молю небо, чтобы оно охранило вашу квартиру отъ всякаго врага и супостата. Дай Богъ вамъ всего хорошаго. Вашъ А. Чеховъ.

1888 — 89г.

Я получилъ Пушкинскую премію. Эхъ, получить бы эти 500 руб. лѣтомъ, когда весело, а зимою они пойдутъ прахомъ.

Завтра сажусь писать разсказъ для Гаршинскаго сборника. Буду стараться. Когда онъ выльется въ нѣчто форменное, то я увѣдомлю васъ и обезпечу обѣщаніемъ. Готовъ онъ будетъ, вѣроятно не раньше будущаго воскресенья. Я теперь волнуюсь и плохо работаю.

Теперь о зависти. Если премію мнѣ дали, въ самомъ дѣлѣ, не по заслугамъ, то и зависть, которую она возбуждаетъ, свободна отъ правды. Завидовать и досадовать имѣютъ нравственное право тѣ, кто лучше меня или идетъ рядомъ со мной, но отнюдь не тѣ господа NN и К°., для которыхъ я собственнымъ лбомъ пробилъ дорогу къ толстымъ журналамъ и къ этой же преміи. Эти с. с. должны радоваться, а не завидовать. У нихъ ни патріотизма, ни любви къ литературѣ, а одно самолюбишко. Они готовы повѣсить меня и Короленко за успѣхъ. Будь я и Короленко — геніи, спаси мы съ нимъ отечество, создай мы храмъ Соломоновъ, то насъ возненавидѣли бы еще больше, потому что гг. NN не видятъ ни отечества, ни литературы — все это для нихъ вздоръ; они замѣчаютъ только чужой успѣхъ и свой неуспѣхъ, а остальное хоть травой порасти. Кто не умѣетъ быть слугою, тому нельзя позволять быть господиномъ; кто не умѣетъ радоваться чужимъ успѣхамъ, тому чужды интересы общественной жизни и тому нельзя давать въ руки общественное дѣло.

„Правы вы также, что не можетъ лгать человѣкъ, который только-что плакалъ. Но правы только отчасти. Ложь—тотъ же алкоголизмъ. Лгуны лгутъ и умирая. На дняхъ неудачно застрѣлился аристократъ, женихъ одной знакомой намъ барышни. Отецъ этого жениха не идетъ въ больницу навѣстить сына и не пойдетъ до тѣхъ поръ, пока не узнаетъ, какъ отнесся свѣтъ къ самоубійству его сына“...

„Пора какимъ бы-то ни было образомъ прекратить безобразіе, предусмотрѣнное уложеніемъ о наказаніяхъ. Я говорю объ оскорбленіи могилъ, практикуемомъ такъ часто литературными альфонсиками и маркерами въ родѣ г. N. Не достаетъ еще, чтобы на могилахъ писателей говорили рѣчи театральные барышники и трактирные половые. Меня покоробило, когда въ телеграммѣ изъ Петербурга о похоронахъ Z, я прочелъ, что рѣчь говорилъ, между прочимъ, и „писатель N“. Что онъ Гекубѣ и что ему Гекуба?“

„Я трусъ и мнителенъ; боюсь торопиться и вообще боюсь печататься. Мнѣ все кажется, что я скоро надоѣмъ и обращусь въ поставщики баласта, какъ обратились Я., М., Б. и пр., какъ и я, „подававшіе большія надежды“. Боязнь эта имѣетъ свое основаніе: я давно уже печатаюсь, напечаталъ пять пудовъ разсказовъ, но до сихъ поръ поръ еще не знаю, въ чемъ моя сила и въ чемъ слабость“.

„Вино и музыка всегда для меня были отличнѣйшимъ штопоромъ. Когда гдѣ-нибудь въ дорогѣ, въ моей душѣ или въ головѣ сидѣла пробка, для меня было достаточно выпить стаканчикъ вина, чтобы я почувствовалъ у себя крылья и отсутствіе пробки“.

„...Люди, которыхъ я изображаю, дороги и симпатичны для меня, а кто симпатиченъ, съ тѣмъ хочется подольше возиться“.

11 февраля 1889 г.

Милый и дорогой Алексѣй Николаевичъ, пишу вамъ эти строки наканунѣ вашихъ именинъ и жалѣю, что судьба лютая лишила меня возможности быть у васъ завтра. Въ Москвѣ я утопаю въ скукѣ. Чувствую себя такъ, словно меня женили на постылой женщинѣ или сослали въ страну, гдѣ вѣчная зима. Это похмелье послѣ Питера, гдѣ я, какъ вамъ извѣстно, далеко не скучалъ; не только не скучалъ, но даже былъ вынужденъ бѣжать отъ изобилія сильныхъ ощущеній.

Апрѣль 1889 г.

Мнѣ жаль Салтыкова. Это была крѣпкая сильная голова. Тотъ сволочный духъ, который живетъ въ мелкомъ, измошенничившемся душевно-русскомъ интеллигентѣ средняго пошиба, потерялъ въ немъ своего самаго упрямаго и назойливаго врага. Обличать умѣетъ каждый газетчикъ, но открыто презирать умѣлъ одинъ только Салтыковъ. Двѣ трети читателей не любили его, но вѣрили ему всѣ. Никто не сомнѣвался въ искренности его презрѣнія.

1889 г.

У меня медицинская практика. Центромъ этой злополучной, весьма непріятной и утомительной практики служитъ одръ моего брата художника, страдающаго брюшнымъ тифомъ. Человѣкъ я малодушный, не умѣю смотрѣть прямо въ глаза обстоятельствамъ и поэтому вы мнѣ повѣрите, если я скажу вамъ, что я буквально не въ состояніи работать. Вотъ уже три недѣли, какъ я не написалъ ни одной строки, перезабылъ всѣ свои сюжеты, и не думаю ни о чемъ такомъ, что было бы для васъ интересно. Скученъ я до безобразія.

26 Іюня, 1889 г.

Здравствуйте, мой милый и дорогой Алексѣй Николаевичъ! Ваше письмо пришло на девятый день послѣ смерти Николая, т. е. когда мы всѣ уже начали входить въ норму жизни; теперь отвѣчаю вамъ и чувствую, что норма въ самомъ дѣлѣ настала и что теперь ничто не мѣшаетъ мнѣ аккуратно переписываться съ вами.

Бѣдняга художникъ умеръ. На Лукѣ онъ таялъ, какъ воскъ, и для меня не было ни одной минуты, когда бы я могъ отдѣлаться отъ сознанія близости катастрофы... Нельзя было сказать, к о г д а умретъ Николай, но что онъ умретъ с к о р о—для меня было ясно. Развязка произошла при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Гостилъ у меня Свободинъ. Воспользовавшись пріѣздомъ старшаго брата, который могъ смѣнить меня, я захотѣлъ отдохнуть, дней пять, подышать другимъ воздухомъ; уговорилъ Свободина и Линтваревыхъ и поѣхалъ съ ними въ Полтавскую губ. къ Смагинымъ. Въ наказаніе за то, что я уѣхалъ, всю дорогу дулъ такой холодный вѣтеръ и небо было такое хмурое, что хоть тундрамъ въ пору. На половинѣ дороги полилъ дождь. Пріѣхали къ Смагинымъ ночью, мокрые, холодные, легли спать въ холодныя постели, уснули подъ шумъ холоднаго дождя. Утромъ была все та же возмутительная, вологодская погода; во всю жизнь не забыть мнѣ ни грязной до-

роги, ни сѣраго неба, ни слезъ на деревьяхъ; говорю—не забыть, потому что утромъ пріѣхалъ изъ Миргорода мужиченко и привезъ мокрую телеграмму: „Коля скончался“. Можете представить мое настроеніе. Пришлось скакать обратно на лошадяхъ до станціи, потомъ по желѣзной дорогѣ и ждать на станціяхъ по 8 часовъ... Въ Ромнахъ ждалъ я съ 7 часовъ вечера до 2 часовъ ночи. Отъ скуки пошелъ шататься по городу. Помню, сижу въ саду; темно, холодище страшный, скука аспидская, а за бурой стѣною, около которой я сижу, актеры репетируютъ какую то мелодраму. Дома я засталъ горе. Наша семья еще не знала смерти, и гробъ пришлось видѣть у себя впервые.

Похороны устроили мы художнику отличные. Несли его на рукахъ, съ хоругвями и проч. Похоронили на деревенскомъ кладбищѣ подъ медовой травой; крестъ виденъ далеко съ поля. Кажется, что лежать ему очень уютно.

Вѣроятно, я уѣду куда нибудь. Куда? Не вѣмъ...

13 Августа.

Здравствуйте, милый Алексѣй Николаевичъ! Я вернулся во свояси. Былъ въ Крыму, въ Новомъ Аѳонѣ, въ Сухумѣ, въ Батумѣ, въ Тифлисѣ, въ Баку; хотѣлъ съѣздить въ Бухару и въ Персію, но судьбѣ угодно было повернуть мои оглобли назадъ. Впечатлѣнія новыя, рѣзкія, до того рѣзкія, что все пережитое представляется мнѣ теперь сновидѣніемъ. Писать вамъ съ дороги не было возможности, ибо было нестерпимо жарко, я чувствовалъ себя гоняемымъ на кордѣ и впечатлѣній было такъ много, что я рѣшительно обалдѣлъ и не зналъ, о чемъ писать. Въ Ѳеодосіи я получилъ ваше письмо; отвѣтить толкомъ и пространно, когда кружится голова отъ крымскаго и во рту пересохло отъ длинныхъ разговоровъ, когда впечатлѣнія смѣшались въ окрошку,—трудно.

О своемъ путешествіи разскажу вамъ въ Питерѣ. Буду разсказывать часа два, а описывать его на бумагѣ не буду, ибо описаніе выйдетъ кратко и блѣдно.

Статья Мережковскаго, если смотрѣть на нее какъ на желаніе серьезно заняться критикой, весьма симпатичное явленіе. Главный ея недостатокъ—отсутствіе простоты. Второй недостатокъ: авторъ не уяснилъ себѣ вопроса и недостаточно убѣжденъ; это видно изъ того, что почти на каждой страницѣ онъ дѣлаетъ уступки и смѣшиваетъ различныя понятія; кое гдѣ кричащія натяжки и туманности. Третій недостатокъ—это примѣчаніе редакціи, которое я, хоть

убейте, рѣшительно не понимаю. Про какихъ тамъ сотрудниковъ говорится? Такъ извольте-же подъ каждой статьей дѣлать примѣчаніе, что „сія статья хотя и не нравится Чехову, но мы ее помѣщаемъ“... Редакція отвѣчаетъ за каждую строчку вмѣстѣ съ авторомъ; виноваты она и авторъ, третьи лица тутъ лишнія. Кто не согласенъ, тотъ можетъ писать особую статью, а дѣлать вылазку изъ оврага не подобаетъ. Редакція, какова бы она ни была, должна быть безусловно самостоятельна, по крайней мѣрѣ въ глазахъ публики; на то она и редакція.

Вы сильно огорчите меня, если не пріѣдете въ Украйну. Что я долженъ пообѣщать вамъ, чтобы вы тронулись изъ Питера?

Погода чудная. Работать совсѣмъ не хочется. Кланяйтесь вашимъ и редакціи.

Будьте здоровы и живите такъ, чтобы каждую минуту чувствовать весну. Вашъ А. Чеховъ.

1889 г.

По моему въ массѣ всего того, что теперь пишется у насъ и за границей, едва ли можно найти что нибудь равносильное по важности замысла и красотѣ исполненія Крейцеровой сонатѣ (Толстого). Не говоря ужъ о художественныхъ достоинствахъ, которыя мѣстами поразительны, спасибо повѣсти за одно то, что она до крайности возбуждаетъ мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: „это правда!“ или „это нелѣпо!“ Правда, у нея есть очень досадные недостатки. Кромѣ всего того, что вы перечислили, въ ней есть еще одно, чего не хочется простить ея автору, а именно—смѣлость, съ какою Толстой трактуетъ о томъ, чего онъ не знаетъ и чего изъ упрямства не хочетъ понять. Такъ, его сужденія о сифилисѣ, воспитательныхъ домахъ, объ отвращеніи женщинъ къ совокупленію и проч. не только могутъ быть оспариваемы, но и прямо изобличаютъ человѣка, не потрудившагося въ продолженіе своей долгой жизни прочесть двѣ-три книжки, написанныя спеціалистами. Но все-таки эти недостатки разлетаются, какъ перья отъ вѣтра; въ виду достоинствъ повѣсти ихъ просто не замѣчаешь, а если и замѣтишь, то только подосадуешь, что повѣсть не избѣгла участи всѣхъ человѣческихъ дѣлъ, которыя всѣ не совершенны и не свободны отъ пятенъ!

Что касается Гаршинскаго сборника, то не знаю, что и сказать вамъ. Не дать разсказа—не хочется. Во-первыхъ, такихъ людей, какъ покойный Гаршинъ, я люблю всей душой и считаю

своимъ долгомъ публично расписываться въ симпатіи къ нимъ; во-вторыхъ, Гаршинъ въ послѣдніе дни своей жизни много занимался моей особой, чего я забыть не могу; въ третьихъ, отказаться отъ участія въ сборникѣ, значитъ поступить не по товарищески, сирѣчь по свински. Все это я чувствую до мозга костей, но представьте мое нелѣпое положеніе. У меня рѣшительно нѣтъ темъ, сколько нибудь годныхъ для сборника. Все, что есть, или очень пошло, или очень весело, или очень длинно. Былъ одинъ неважный сюжетецъ, да и тотъ я уже пустилъ въ дѣло и въ образѣ небольшого очерка послалъ въ „Новое Время", гдѣ я по уши залѣзъ въ долги. Впрочемъ, есть у меня еще одна тема. Быть можетъ, мнѣ удастся написать разсказъ такъ, что онъ произведетъ, какъ бы я хотѣлъ, гнетущее впечатлѣніе; быть можетъ онъ выйдетъ хорошъ и сгодится для сборника, но поручитесь ли вы, милый, что цензура или сама редакція не выхватятъ изъ него то, что въ немъ я считаю за важное? Вѣдь сборникъ иллюстрированный, стало быть цензурный. Если поручитесь, что ни одно слово не будетъ вычеркнуто, то я напишу разсказъ въ два вечера; если же ручаться нельзя, то погодите недѣльку, я дамъ вамъ мой окончательный отвѣтъ: авось надумаю сюжетъ.

3 Ноября, 1889 г.

Дорогой Алексѣй Николаевичъ! Спѣшу увѣдомить васъ, что разсказъ для Гаршинскаго сборника уже начатъ ($^1/_4$ сдѣлана) и что я не теряю надежды участвовать въ сборникѣ. Я прошу убѣдительно, если можно, дать мнѣ недѣлю сроку. Какъ только разсказъ будетъ готовъ, я дамъ вамъ знать телеграммой и успокою васъ. Прошу отсрочки и снисхожденія не изъ лѣности. Я нахожусь въ угнетенномъ состояніи. Одна маленькая семейная неурядица, о которой сообщу при свиданіи, и безденежье, которое одолѣваетъ меня съ сентября по сіе время, овладѣли всѣмъ моимъ существомъ и я совершенно неспособенъ быть покойнымъ и работать. На душѣ скверно, въ карманѣ ни гроша, долговъ гибель.

Уфъ! Кончилъ, наконецъ, переписывать разсказъ, запаковалъ и послалъ вамъ, дорогой Алексѣй Николаевичъ! Получили? Прочли? Небось, сердитесь? Разсказъ совсѣмъ неподходящій для альманашно-семейнаго чтенія, не граціозный и отдаетъ сыростью водосточныхъ трубъ. Но совѣсть моя по крайней мѣрѣ покойна: во-первыхъ, обѣщаніе сдержалъ, во-вторыхъ, воздалъ покойному Гаршину ту дань,

какую хотѣлъ и умѣлъ.—Мнѣ, какъ медику, кажется, что душевную боль я описалъ правильно, по всѣмъ правиламъ психіатрической науки.

О полученіи разсказа пожалуйста увѣдомьте; если онъ не сгодится у васъ, то я пущу его въ другое мѣсто, съ надписью „Памяти Гаршина“. Не дай Богъ, если не сгодится. Я съ нимъ долго возился.

Литературныя дѣла идутъ вообще тихо, но жизнь проходитъ шумно. Очень много разговора насчетъ голода и много работы, вытекающей изъ сихъ разговоровъ. Въ театрахъ пусто. Погода плохая: совсѣмъ нѣтъ морозовъ. Щегловъ Жанъ увлеченъ толстовцами, Мережковскій попрежнему сидитъ въ домѣ Мурузи и путается въ превыспренныхъ исканіяхъ и попрежнему онъ симпатиченъ; Фаусекъ получилъ магистра; про Чехова говорятъ, что онъ женился на N и взялъ 5 милліоновъ приданаго. Объ этомъ говоритъ весь Петербургъ. Кому и для чего нужна эта сплетня, положительно не могу понять. Даже противно читать петербургскія письма.

Еслибъ я женился на N, то купилъ бы громадное имѣніе, которое отдалъ бы въ распоряженіе тѣхъ десяти человѣкъ, которыхъ я люблю. Но такъ какъ на N я не женюсь и 200 тысячъ никогда не выиграю, то и приходится мириться со своей судьбой и жить мечтами.

27 Марта.

Милый Алексѣй Николаевичъ! Извѣстіе о кончинѣ „Сѣвернаго Вѣстника“ произвело на меня впечатлѣніе удручающее. Нехорошо все это. Странно, что всюду говорятъ у насъ о томъ, что въ Россіи мало журналовъ и въ то же время, среди бѣла дня, въ столицѣ, при изобиліи пишущихъ, безпомощно и зря погибаетъ журналъ.

Изъ писемъ братьямъ Николаю П. и Михаилу П. Чеховымъ.

Изъ письма Н. П. Чехову.

(1889 г.).

Воспитанные люди, по моему мнѣнію, должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: 1) они уважаютъ человѣческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вѣжливы, уступчивы... Живя съ кѣмъ нибудь, они не дѣлаютъ изъ этого одолженія, а

уходя не говорятъ: „Съ вами жить нельзя!“ Они прощаютъ и шумъ, и холодъ, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствіе въ ихъ жильѣ постороннихъ...

2) Они сострадательны не къ однимъ только нищимъ и кошкамъ. Они болѣютъ душой и отъ того, чего не увидишь простымъ глазомъ. Они ночей не спятъ, чтобы помогать П., платить за братьевъ-студентовъ, одѣвать мать...

3) Они уважаютъ чужую собственность, а потому и платятъ долги.

4) Они чистосердечны и боятся лжи, какъ огня. Не лгутъ они даже въ пустякахъ. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляетъ въ его глазахъ говорящаго. Они не рисуются, держатъ себя на улицѣ такъ же, какъ дома, не пускаютъ пыли въ глаза меньшей братіи... Они не болтливы и не лѣзутъ съ откровенностями, когда ихъ не спрашиваютъ... Изъ уваженія къ чужимъ ушамъ, они чаще молчатъ...

5) Они не уничтожаютъ себя съ той цѣлью, чтобы вызвать въ другомъ сочувствіе. Они не играютъ на струнахъ чужихъ душъ, чтобъ въ отвѣтъ имъ вздыхали и няньчились съ ними. Они не говорятъ: „Меня не понимаютъ!“ или: „Я размѣнялся на мелкую монету!“, потому что все это бьетъ на дешевый эффектъ, пошло, старо, фальшиво.

6) Они не суетны. Ихъ не занимаютъ такіе фальшивые брилліанты, какъ знакомство съ знаменитостями, рукопожатіе пьянаго П., восторгъ встрѣчнаго въ salon'ѣ, извѣстность по портернымъ. Они смѣются надъ фразой: „Я представитель печати!!“ Дѣлая на грошъ, они не носятся со своей папкой на сто рублей и не хвастаютъ тѣмъ, что ихъ пустили туда, куда другихъ не пустили... Истинные таланты всегда сидятъ въ потемкахъ, въ толпѣ, подальше отъ выставки... Даже Крыловъ сказалъ, что пустую бочку слышнѣе, чѣмъ полную.

7) Если они имѣютъ въ себѣ талантъ, то уважаютъ его. Они жертвуютъ для него покоемъ, женщинами, виномъ, суетой... Они горды своимъ талантомъ, сознавая, что они призваны воспитывающе вліять. Къ тому-же они брезгливы.

8) Они не воспитываютъ въ себѣ эстетику. Они не могутъ уснуть въ одеждѣ, видѣть на стѣнѣ щели съ клопами, дышать дряннымъ воздухомъ, шагать по оплеванному полу, питаться изъ керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинктъ... Имъ нужны отъ женщины не постель, не лошадиный потъ, не умъ, выражающійся въ умѣньи лгать безъ устали... Имъ,

особливо художникамъ, нужны свѣжесть, изящество, человѣчность, способность быть матерью. Они не трескаютъ походя водку, не нюхаютъ шкафовъ, ибо они знаютъ, что они не свиньи. Пьютъ они только, когда свободны, при случаѣ... Ибо имъ нужны mens sana in corpore sano.

И. т. д. Таковы воспитанные. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, въ которую попалъ, недостаточно прочесть только „Пикквика“ и вызубрить монологъ изъ „Фауста...“ Тутъ нужны безпрерывный дневной и ночной трудъ, вѣчное чтеніе, штудировка, воля... Тутъ дорогъ каждый часъ...

Изъ письма М. П. Чехову.

(1888 г.).

Паршивенькій грузовой пароходъ „Диръ“ мчится на всѣхъ парусахъ (8 узловъ въ 1 часъ) отъ Сухума до Поти. Двѣнадцатый часъ ночи. Въ маленькой каюткѣ, единственной на пароходѣ и похожей на в.—к., нестерпимо душно и жарко. Воняетъ гарью, канатомъ, рыбой и моремъ. Слышно, какъ работаетъ машина: „бумъ, бумъ, бумъ...“ Надъ головой и подъ поломъ скрипитъ нечистая сила... Темнота качается въ каюткѣ, а кровать то поднимается, то опускается... Все вниманіе желудка устремлено на кровать, и онъ, словно нивеллируя, то подкатываетъ выпитую сельтерскую воду къ самому горлу, то опускаетъ ее къ пяткамъ... Чтобы не обливать въ потемкахъ одежи, быстро одѣваюсь и выхожу. Темно... Ноги мои спотыкаются о какія-то невидимыя желѣзныя шпалы, о канатъ; куда ни ступишь, всюду бочки, мѣшки, тряпье... Подъ подошвами угольный мусоръ... Наталкиваюсь въ потемкахъ на что-то рѣшетчатое: это клѣтка съ козулями, которыхъ я видѣлъ днемъ; онѣ не спятъ и съ тревогой прислушиваются къ качкѣ... Около клѣтки сидятъ два турка и тоже не спятъ... Ощупью взбираюсь по лѣстничкѣ на капитанскую рубку... Теплый, но рѣзкій и противный вѣтеръ хочетъ сорвать съ меня фуражку... Качаетъ... Мачта впереди рубки качается мѣрно и не спѣша, какъ метрономъ; стараюсь отвести отъ нея глаза, но глаза не слушаются и вмѣстѣ съ желудкомъ слѣдятъ только за тѣмъ, что движется. Море и небо темны, береговъ не видно, палуба представляется чернымъ пятномъ... Ни огонька.

Сзади меня окно. Гляжу въ него и вижу человѣка съ лицомъ Павла Михайловича. Онъ внимательно глядитъ на что-то и вертитъ колесо съ такимъ видомъ, какъ будто исполняетъ девятую симфо-

нію... Рядомъ со мной стоитъ маленькій, толстенькій капитанъ въ желтыхъ башмакахъ. Онъ разговариваетъ со мной о кавказскихъ переселенцахъ, о духотѣ, о зимнихъ буряхъ и въ то же время напряженно вглядывается въ темную даль и въ сторону берега...

— А ты, кажется, опять забираешь влѣво! — говоритъ онъ, между прочимъ, кому-то; или:—Тутъ должны быть видны огоньки... Видишь?

— Никакъ нѣтъ!— отвѣчаетъ кто-то изъ потемокъ.

— Полѣзай на верхнюю площадку и погляди!

„Темная фигура вырастаетъ на рубкѣ и не спѣша лѣзетъ куда-то вверхъ. Черезъ минуту слышно:

— Есть!

Всматриваюсь влѣво, гдѣ должны быть огоньки маяка, беру у капитана бинокль и ничего не вижу... Проходитъ полчаса, часъ... Мачта мѣрно качается, нечистая сила скрипитъ, вѣтеръ покушается на фуражку... Тошноты нѣтъ, но жутко...

Вдругъ капитанъ срывается съ мѣста и со словами:

„Черрртова кукла!“ бѣжитъ куда-то назадъ.

— Влѣво! кричитъ онъ съ тревогой во все горло.—Влѣво... вправо! Аря... ва... а-а!..

Слышится непонятная команда; пароходъ вздрагиваетъ, нечистая сила взвизгиваетъ... „А-ва-а-ва!“—кричитъ капитанъ. У самаго носа звонятъ въ колоколъ, на черной палубѣ бѣготня, стукъ, тревожные крики... Диръ еще разъ вздрагиваетъ, напряженно пыхтитъ и, кажется, хочетъ дать задній ходъ.

— Что такое?—спрашиваю я и чувствую что-то въ родѣ маленькаго ужаса. Отвѣта нѣтъ.

— Столкнуться хочетъ, черртова кукла! — слышится рѣзкій крикъ капитана.

— Влѣ-ѣ-ва-а!

У носа показываются какіе-то красные огни и вдругъ раздается среди шума свистъ не Дира, а какого-то другого парохода... Теперь понятно: мы столкнемся! Диръ пыхтитъ, дрожитъ и какъ будто не движится, ожидая, когда ему итти ко дну... (Тутъ со мной происходитъ маленькое недоразумѣніе, продолжавшееся не болѣе полуминуты, но доставившее мнѣ немало мученій... Полминуты я былъ убѣжденъ въ томъ, что я погубилъ пароходъ. О недоразумѣніи разскажу при свиданіи, писать же о немъ длинно, нѣтъ мочи).

Но вотъ, когда по моему мнѣнію все уже погибло, слѣва показываются красные огни и начинаетъ вырисовываться силуэтъ

парохода... Длинное, черное тѣло плыветъ мимо, виновато мигаетъ красными глазами и виновато свиститъ.

— Уфъ! Какой это пароходъ?—спрашиваю я капитана.

Капитанъ смотритъ въ бинокль на силуэтъ и говоритъ:

— Это Твиди.

Послѣ нѣкотораго молчанія заводимъ рѣчь о Вестѣ, которая столкнулась съ двумя пароходами и погибла. Подъ вліяніемъ этого разговора море, ночь, вѣтеръ, начинаютъ казаться отвратительными, созданными на погибель человѣка, и глядя на толстепькаго капитана, я чувствую жалость. Мнѣ что-то шепчетъ, что этотъ бѣднякъ рано или поздно тоже пойдетъ ко дну и захлебнется соленой водой...

Иду къ себѣ къ каюту... Душно и воняетъ кухней. Раздѣваюсь до нага и ложусь... Темнота колеблется, кровать словно дышитъ... Бумъ, бумъ, бумъ... Обливаюсь потомъ; задыхаясь и чувствуя во всемъ тѣлѣ тяжесть отъ качки, я спрашиваю себя: „Зачѣмъ я здѣсь“?

Просыпаюсь... Уже не темно... Весь мокрый, съ противнымъ вкусомъ во рту, одѣваюсь и выхожу... Все покрыто росой... Козули глядятъ по человѣчески сквозь рѣшетку и, кажется, хотятъ спросить: „Зачѣмъ мы здѣсь?“ Капитанъ по прежнему сидитъ неподвижно и всматривается въ даль.

Налѣво тянется гористый берегъ .. Виденъ Эльборусъ изъ-за горъ. Восходитъ мутное солнце... Видна зеленая Ріонская долина, а возлѣ нея Потійская бухта...

Неизвѣстному лицу.

(по рукописи, сообщенной М. П. Чеховымъ).

Я въ Абхазіи! Ночь провелъ въ монастырѣ „Новый Аѳонъ“, а сегодня съ утра сижу въ Сухумѣ. Природа удивительная до бѣшенства и отчаянія. Все ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное—горы, горы и горы безъ конца и краю. Сижу я сейчасъ на балконѣ, а мимо лѣниво прохаживаются абхазцы въ костюмахъ маскарадныхъ капуциновъ; черезъ дорогу бульваръ съ маслинами, кедрами и кипарисами, за бульваромъ темносинее море.

Жарко невыносимо! Варюсь въ собственномъ потѣ. Мой красный шнурокъ на сорочкѣ раскисъ отъ пота и пустилъ красный сокъ; убаха, лобъ и подмышки хоть выжми. Кое-какъ спасаюсь ку-

паньемъ... Вечеръетъ... Скоро поѣду на пароходъ. Вы не повѣрите, голубчикъ, до какой степени вкусны здѣсь персики! Величиной съ большой яблокъ, бархатистые, сочные... Ѣшь, а нутро такъ и ползетъ по пальцамъ.

Изъ Ѳеодосіи выѣхалъ на „Юнонѣ", сегодня ѣхалъ на „Дирѣ", завтра поѣду на бабушкѣ... Много я перепробовалъ пароходовъ, но еще ни разу не рвалъ.

На Аѳонѣ познакомился съ архіереемъ Геннадіемъ, епископомъ Сухумскимъ, ѣздящимъ по епархіи верхомъ на лошади. Любопытная личность.—Купилъ матери образокъ, который привезу.

Если бы я пожилъ въ Абхазіи хотя мѣсяцъ, то, думаю, написалъ бы съ полсотни обольстительныхъ сказокъ. Изъ каждаго пустяка, со всѣхъ тѣней и полутѣней на горахъ, съ моря и съ неба глядятъ тысячи сюжетовъ. Подлецъ я за то, что не умѣю рисовать.

Ну, оставайтесь живы и здоровы. Да хранятъ васъ ангелы небесные.

Поклонъ всѣмъ.

Вашъ А. Чеховъ.

Не подумайте, что я ѣду въ Персію.

Изъ писемъ П. А. Сергѣенко.

1884 г.

... Давно собирался нацарапать тебѣ и вотъ по какому поводу. Мѣсяцъ тому назадъ я послалъ въ „Стрекозу" разсказъ, посвященный „недавно судившемуся другу моему Эмилю Пупу" [1]). Заглавія не помню. Памятьдо того подлая, что скоро забуду, гдѣ верхъ, гдѣ низъ... Кажется, „Ночь передъ судомъ", подъ заглавіемъ курсивная строка: „случай изъ моей медицинско-шарлатанской практики". Подпись: Дяденька. Было до сего дня напечатано что-либо подобное въ „Стрекозѣ"? Этого журнала я не вижу и не читаю: то боленъ, то занятъ, и нигдѣ не бываю. Написать въ „Стрекозу" справку не хочется. Разсказъ нѣсколько нецензуренъ: либераленъ, саленъ и прочее. Если будешь писать въ Питеръ, то справься о судьбѣ чеховскаго разсказа. Впрочемъ, справка эта не имѣетъ особой важности, и я мало потеряю, если ты забудешь... Пишу же тебѣ о семъ съ той цѣлью, чтобы выдать тебѣ съ головою автора, дерзнувшаго украсить

---

[1]) Напечатаны въ воспомин. А. П. Сергѣенко (см. в.,) который указываетъ, что «Эмиль Пупъ» его стихотвореній псевдонимъ.

свой разсказъ твоимъ „эмилепупствомъ“. Ну, какъ живешь? Чай, на южномъ просторѣ (....) и стишки пописываешь? Счастливчикъ! Я уже скорблю. Работы пропасть, денегъ мало, здоровье негодное. Поемъ „Фрере-Жаке“,—слѣдъ, тобой оставленный... Мечталъ къ празднику побывать въ Питерѣ, но задержало кровохарканье (не чахоточное). Читаю твои произведенія и браню тебя за неприлежаніе: мало пишешь! Не увидимся ли гдѣ-нибудь лѣтомъ? а? Напиши-ка! На югѣ лѣтомъ я буду. Вчера мнѣ снился почему-то Крамсаковъ [1]). Избираю его фамилію своимъ фельетоннымъ псевдонимомъ. Прощай! жму тебѣ руку и желаю купно съ твоей семьей всѣхъ благъ. Твой А. Чехонте.

Изъ писемъ А. П. Чехова къ И. Л. Щеглову.

11 ноября 1888 г.

Mein lieber Iohan! О желаніи Савиной играть Медвѣдя я узналъ двумя днями раньше, чѣмъ о желаніи Абариновой, поэтому, по полученіи вашего письма, я уже успѣлъ послать свое согласіе высокоталантливой и божественной Маріи Гавриловнѣ. Произошла помимо нашей воли путаница. Боюсь, чтобы она не поставила кого-нибудь въ неловкое положеніе. Если ваше наблюдательное око замѣтитъ въ чьей-нибудь душѣ (въ своей или актерской) смущеніе, то поспѣшно дѣлайте операцію: берите моего Медвѣдя назадъ, мотивируя сіе моимъ нежеланіемъ дебютировать на казенной сценѣ водевилемъ или чѣмъ нибудь въ этомъ родѣ. Операціи этой я не боюсь. Ставить-же кого бы то ни было въ непріятное положеніе изъ-за чертъ знаетъ чего мнѣ не хочется.

Вы хотите спорить со мной о театрѣ. Сдѣлайте ваше одолженіе, но вамъ не переспорить моей нелюбви къ эшафотамъ, гдѣ казнятъ драматурговъ. Современный театръ—это міръ безтолочи, К—хъ, тупости и пустозвонства. На дняхъ мнѣ К—въ похвасталъ, что въ своихъ бездарнѣйшихъ „Крокодиловыхъ слезахъ“ онъ пробралъ „желторотыхъ либераловъ“, и что потому-то его пьеса не понравилась и была обругана. Послѣ этого я еще больше возненавидѣлъ театръ и возлюбилъ тѣхъ фанатиковъ-мучениковъ, которые пытаются сдѣлать изъ него что нибудь путное и безвредное.

---

[1]) Учитель гимназіи, гдѣ воспитывался А. П. Чеховъ (ук. г. Сергѣенко).

Вы говорите, что вы „по неволѣ, нужды ради пишете плохія повѣсти“. Какъ вы смѣете говорить это? Ни одна ваша пьеса не возвышалась до „Гордіева узла“ и военныхъ очерковъ! Чертъ васъ возьми! Впрочемъ, если по вашему мнѣнію ваши пьесы лучше повѣстей, то не будемъ спорить и возбуждать спора.

Глама, кажется, опять помирилась. Чертъ ихъ разберетъ.

Будьте здоровехоньки и покойны. Поудержите свои щеглиные нервы и не забывайте, что вы бравый капитанъ.

Вашъ Antonio.

О „Театральномъ воробьѣ“ буду писать.

Воробей, Сѣренькій козликъ, Крокодиловы слезы, Мышенокъ, Медвѣдь, Вольная пташка—какой звѣринецъ!

9 Мартъ.

Милый мой Жанъ, желаніе ваше будетъ исполнено: я пошлю въ „Недѣлю“ разсказъ. И сдѣлаю это тѣмъ болѣе охотно, что сей журналъ мнѣ симпатиченъ. Передайте штурману, что я займу каюту въ его суднѣ не позже апрѣля.

Да, такихъ людей, какъ Рачинскій, очень мало на бѣломъ свѣтѣ. Я, голубчикъ, понимаю вашъ восторгъ. Послѣ духоты, какую чувствуешь въ средѣ—и—а,— ими же полонъ міръ,—Рачинскій, идейный, гуманный и чистый, представляется весеннимъ зефиромъ. Я готовъ за Рачинскаго животъ свой положить, но, милый другъ... разрѣшите мнѣ это „но“ и не сердитесь—я не отдалъ бы въ его школу своихъ дѣтей. Почему? Я получилъ въ дѣтствѣ религіозное образованіе и такое же воспитаніе—съ церковнымъ пѣніемъ, съ чтеніемъ апостола и кафизмъ въ церкви, съ исправнымъ посѣщеніемъ утрени, съ обязанностью помогать въ алтарѣ и звонить на колокольнѣ. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своемъ дѣтствѣ, то оно представляется мнѣ довольно мрачнымъ; религіи у меня теперь нѣтъ. Знаете, когда бывало я и два мои брата среди церкви пѣли тріо „Да исправится“, или же „Архангельскій гласъ“, на насъ всѣ смотрѣли съ умиленіемъ и завидовали моимъ родителямъ, мы же въ это время чувствовали себя маленькими каторжниками. Да, милый! Рачинскаго я понимаю, но дѣтей, которыя учатся у него, я не знаю. Ихъ души для меня потемки. Если въ ихъ душахъ радость, то они счастливѣе меня и братьевъ, у которыхъ дѣтство было страданіемъ.

Хорошо быть лордомъ. Просторно, тепло, никто не обрываетъ у двери звонка, но легко оборваться и изъ лордовъ угодить въ кон-

сьержи или портье. Имѣніе, сударь, стоитъ 13 тысячъ, а я уплатилъ только треть. Остальное составляетъ долгъ, который долго, долго будетъ держать меня на цѣпочкѣ.

Вотъ мой адресъ: ст. Лопасня Моск. Курск. дороги, село Мелихово; это для простыхъ писемъ и телеграммъ.

Пріѣзжайте ко мнѣ, Жанъ, вмѣстѣ съ Суворинымъ. Сговоритесь съ нимъ. Какой у меня садъ! Какой наивный дворъ! Какіе гуси!

Пишите почаще.

Поклонъ и привѣтъ вашей радушной женѣ. Будьте, голубчикъ, здоровы и веселы. Вашъ А. Чеховъ.

Пришлите мнѣ оттискъ Вашей послѣдней повѣсти.

22-го февраля 1888 г.

Милый капитанъ! Я прочиталъ всѣ Ваши книги, которыя до сихъ поръ читывалъ только урывками. Если хотите моей критики, то вотъ она. Прежде всего мнѣ кажется, что Васъ нельзя сравнивать ни съ Гоголемъ, ни съ Толстымъ, ни съ Достоевскимъ, какъ это дѣлаютъ всѣ Ваши рецензенты. Вы писака sui generis и самостоятельны, какъ орелъ въ поднебесьи. Если сравненія необходимы, то я скорѣе всего сравнилъ бы Васъ съ Помяловскимъ постольку, поскольку онъ и Вы—мѣщанскіе писатели. Называю васъ мѣщанскимъ не потому, что во всѣхъ Вашихъ книгахъ сквозитъ чисто мѣщанская ненависть къ адъютантамъ и журфикснымъ людямъ, а потому, что Вы, какъ и Помяловскій, тяготѣете къ идеализаціи сѣренькой мѣщанской среды и ея счастья. Вкусные кабачки у Цыпочки, любовь Горича къ Настѣ, солдатская газета, превосходно схваченный разговорный языкъ названной среды, потомъ замѣтное напряженіе и субъективность въ описаніи журфикса и „ma tante“— все это, вмѣстѣ взятое, поддерживаетъ мое положеніе о вашемъ мѣщанствѣ.

Если хотите, то я, пожалуй, сравнилъ бы Васъ еще и съ Додэ. Ваши милые, хорошіе „лошадники“ тронуты слегка, но пока они попадались мнѣ на глаза, мнѣ все казалось, что я читаю Додэ.

Вообще надо быть осторожнымъ въ сравненіяхъ, которыя, какъ бы они не были невинны, всегда невольно вызываютъ подозрѣнія и обвиненія въ подражаніи и поддѣлкѣ. Вы, ради Создателя, не вѣрьте вашимъ прокурорамъ и продолжайте работать такъ, какъ и доселѣ работали. И языкъ, и манера, и характеры, и длинныя описанія и мелкія картинки—все это у васъ свое собственное, оригинальное и хорошее.

Лучшее изъ вашихъ дѣтищъ—это „Гордіевъ узелъ“. Это — трудъ капитальный, Какая масса лицъ и какое изобиліе положеній! Номерная жизнь, „Шураки“, Голощапова съ опухшимъ отъ пива рыломъ, дождь. Лелька, ея бар....къ, сонъ Горича, особливо описаніе маскарада въ клубѣ — все это великолѣпно сдѣлано. Въ этомъ романѣ вы не плотникъ, а токарь.

За „Узломъ“ по достоинству слѣдуетъ „Поспѣловъ“. Лицо новое и оригинально задуманное. Во всей повѣстушкѣ чувствуется тургеневскій пошибъ и я не знаю, почему это критики прозѣвали и не обвинили Васъ въ подражаніи Тургеневу. Поспѣловъ трогателенъ; онъ — идейный человѣкъ и герой. Но, къ сожалѣнію, Вы субъективны до чертиковъ. Вамъ не слѣдовало бы описывать себя. Право, было бы лучше, если бы Вы подсунули ему на дорогѣ женщину и свои чувства вложили въ нее...

„Идиллію“ я ставлю въ концѣ всего, хотя и знаю, что вы ее любите. Начало и конецъ прекрасны, строго выдержаны, въ серединѣ же чувствуется большая распущенность. Начать хоть съ того, что всю музыку Вы испортили провинціализмами, которыми усыпана вся середка. Кабачки, отчини дверь, говоритъ и проч.—за все это не скажетъ вамъ спасиба великороссъ... Языкъ щедро попорченъ, Бомбочка часто попадается на глаза, Агишевъ блѣдноватъ... Лучше всего описаніе мазурки...

Въ общемъ, по прочтеніи всѣхъ Вашихъ книгъ получается весьма опредѣленное впечатлѣніе, сильно говорящее въ пользу Вашей будущности. Теперь если къ книгамъ прибавить еще Ваши пьесы, „Дачнаго мужа“, „Миньону“, „Гремучую змѣю“, если къ тому еще принять во вниманіе Вашу „аристократическую медлительность“ и наклонность къ кабинетному труду („Русскій мыслитель“), то придется остановиться на рѣшеніи, что Вы величина. Вы, не говоря ужъ о талантѣ, разнообразны, какъ актеръ старой школы, играющій одинаково хорошо и въ трагедіи, и въ водевилѣ, и въ опереткѣ, и въ мелодрамѣ. Это разнообразіе, котораго нѣтъ ни у Альбова, ни у Баранц., ни у Ясинскаго, ни даже у Короленко, можетъ служить симптомомъ не распущенности, какъ думаютъ иные критики, а внутренняго богатства. Салютую вамъ отъ души.

. . . . . .

Ничего не дѣлаю. Отъ нечего дѣлать написалъ водевиль „Медвѣдь. Прощайте, будьте здоровы. Простите за критику.

Вашъ *А. Чеховъ.*

3-го мая 1888 г.

Милый Альба! Наконецъ, Вы можете меня поздравить: послѣ завтра, т. е. 5-го мая, я уѣзжаю dahin... Стало быть, отвѣтъ на сіе письмо Вы будете адресовать такъ: „Г. Сумы, Харьк. губ., усадьба А. В. Линтваревой“. Послѣ 10-го мая ко мнѣ пріѣдетъ А. П. Плещеевъ... Отчего бы и Вамъ не пріѣхать? Эхъ вы! Во всякомъ случаѣ буду ожидать Васъ въ теченіе всего лѣта. Авось надумаете и пріѣдете! Впрочемъ, не буду ждать Васъ въ іюнѣ. Весь этотъ мѣсяцъ я буду путешествовать. Если пріѣдете, то привезите 3 ф. хорошей ветчинной колбасы, самой дорогой (за мой счетъ).

Послалъ въ „Сѣв. Вѣстн.“ разсказъ [1]). Мнѣ немножко стыдно за него. Скучища и такъ много философомудріи, что приторно. Непріятно, но нельзя было не послать, ибо деньги нужны, какъ воздухъ. Завтра кончаю разсказъ для „Новаго Времени“. Лѣтомъ буду писать только мелочи.

Получилъ я отъ Лемана письмо; онъ извѣщаетъ, что „мы (т. е. всѣ вы, питерцы) согласились печатать объявленія другъ о другѣ въ своихъ книгахъ, приглашаетъ меня согласиться и предостерегаетъ, что можно въ число избранныхъ „включить лишь лицъ, болѣе или менѣе *солидарныхъ* съ нами“. Въ отвѣтъ я послалъ согласіе и вопросъ: „откуда Вамъ извѣстно, съ кѣмъ я солидаренъ и съ кѣмъ не солидаренъ?“ Какъ у васъ въ Питерѣ любятъ духоту! Неужели Вамъ всѣмъ не душно отъ такихъ словъ, какъ солидарность, единеніе молодыхъ писателей, общность интересовъ и проч.? Солидарность и прочія штуки я понимаю на биржѣ, въ политикѣ, въ дѣлахъ религіозныхъ (секта) и т. п., солидарность же молодыхъ литераторовъ невозможна и не нужна... Думать и чувствовать одинаково мы не можемъ, цѣли у насъ различныя, или ихъ нѣтъ вовсе, знаемъ мы другъ друга мало, или вовсе не знаемъ, и, стало быть нѣтъ ничего такого, къ чему могла бы прочно прицѣпиться солидарность... А нужна она? Нѣтъ. Чтобы помочь своему коллегѣ, уважать его личность и трудъ, чтобъ не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемѣрить передъ нимъ— для всего этого нужно быть не столько молодымъ литераторомъ, сколько вообще человѣкомъ... Будемъ обыкновенными людьми, будемъ относиться одинаково ко всѣмъ, не понадобится тогда и искуственно взвинченной солидарности. Настойчивое же стремленіе къ

[1]) Повѣсть „Огни“, не вошедшая въ собраніе сочиненій Чехова въ изданіи Маркса.

частной профессіональной, кружковой солидарности, какой хотятъ у Васъ, породитъ невольное шпіонство другъ за другомъ, подозрительность, контроль и мы, сами того не желая, сдѣлаемся чѣмъ-то въ родѣ іезуитскихъ соціусовъ другъ у друга... Я милый Жанъ, не солидаренъ съ Вами, но обѣщаю Вамъ по гробъ жизни полную свободу, какъ литератору: то есть Вы можете писать, гдѣ и какъ угодно, мыслить хотя бы на манеръ Корейши, измѣнять 1.000 разъ убѣжденіямъ и направленіямъ и проч. и проч., и человѣческія отношенія мои къ Вамъ не измѣнятся ни на одинъ гранъ и я всегда буду на своихъ обложкахъ печатать объявленія о Вашихъ книгахъ. То же самое я могу пообѣщать и прочимъ моимъ коллегамъ, того же хотѣлъ бы и для себя. По моему, это самыя нормальныя отношенія. Только при нихъ возможны и уваженіе, и даже дружба, и сочувствіе въ тяжелыя минуты жизни.

Однако, я заболтался. Да хранитъ Васъ небо!

Вашъ *А. Чеховъ.*

12 янв. 1902.

Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ, милый Жанъ! Съ прошедшимъ днемъ ангела! Скоро и я именинникъ, и есть надежда, что вы также, какъ я, по-стариковски, не вспомните объ этомъ, не поздравите меня, и мы будемъ квиты, но все же мнѣ совѣстно. Простите!

Книгу вашу благоволите выслать мнѣ по адресу: Ялта. Это мой постоянный адресъ, впредь до увѣдомленія. Адресъ Максима Горькаго: Кореизъ, Таврическ. губ., Алексѣю Максимовичу Пѣшкову. Онъ т. е. Горькій бываетъ у меня, будетъ вѣроятно скоро, дня черезъ 3—4 и тогда я спрошу у него на счетъ „Максима Горькаго“, и если это былъ онъ, то напишу вамъ.

Какъ часто я вспоминаю о васъ, милый Жанъ, и какъ мнѣ хочется, чтобы вы написали комедію! Комедія смѣшная, незлобивая, веселая, интеллигентная еще будетъ написана Вами, я убѣжденъ въ этомъ! Сегодня въ одной газетѣ я читалъ, что „Въ горахъ Кавказа“ комедія Гнѣдича, но я помню, чья это комедія, отлично помню, и высоко цѣню ея автора. Васъ, что видно изъ Вашего письма, волнуютъ г. г. Бур—нъ и Ко, но зачѣмъ, зачѣмъ вы около нихъ т. е.

---

[1]) Дѣло идетъ о разсказѣ Чехова „Скучная исторія“.

зачѣмъ ставите себя въ зависимое отъ нихъ положеніе, отчего не уходите, если презираете. Не обижайте себя, милый Жанъ, не обижайте вашего дарованія, которое, какъ ни какъ, все же отъ Бога, будьте свободны, вырвитесь на волю!

...Мать со мной въ Ялтѣ. Она умилилась и долго говорила о васъ. Сестра сегодня уѣхала въ Москву, гдѣ она служитъ (въ гимназіи).

Будьте здоровы, голубчикъ, не забывайте, пишите хотя изрѣдка. Если задумаете пьесу для художественнаго театра, то напишите мнѣ.

Крѣпко жму руку, желаю счастья.

Вашъ А. Чеховъ.

Изъ писемъ Вл. А. Тихонову.

„Милый драматургъ, при всемъ моемъ желаніи достойно привѣтствовать дебютъ критика Тихонова, я не могу сказать вамъ ни единаго теплаго слова, такъ какъ „Недѣля“ въ Москвѣ составляетъ такую же рѣдкость, какъ бѣлые слоны. Я нигдѣ не могъ найти ее. Не потрудитесь ли вы прислать мнѣ тотъ №., гдѣ помѣщена ваша рецензія? Я прочту и присовокуплю ее къ кучѣ рецензій, составляющихъ въ моемъ архивѣ объемистое „дѣло объ Ивановѣ“.

На сколько могу судить по тѣмъ вашимъ пьесамъ, которыя я видѣлъ на сценѣ, изъ васъ едва ли можетъ выработаться театральный критикъ. Вы человѣкъ рыхлый, чувствительный, уступчивый, наклонный къ припадкамъ лѣни, впечатлительный, а всѣ сіи качества не годятся для строгаго, безпристрастнаго судьи. Чтобы умѣть писать критику, нужно быть въ душѣ немножко тою рябой бабой, которая безъ милосердія будетъ бить васъ [1]). Когда С—нъ видитъ плохую пьесу, то онъ ненавидитъ автора, а мы съ вами только раздражаемся и поемъ; изъ сего я заключаю, что С. годится въ судьи и гончія, а насъ (меня, васъ, Щеглова и проч.) природа сработала такъ, что мы годимся быть только подсудимыми и зайцами. Едина честь лунѣ, едина солнцу...

Напишите-ка лучше рефератъ и прочтите его на Гороховой. Сюжетовъ много.

Оттого, что я въ Питерѣ пилъ, не щадя живота, у меня разы-

[1]) По поводу шутки о „рябой бабѣ“, женитьба на которой представлялась адресатомъ Чехова, какъ идеалъ счастья, см. воспоминанія Вл. Тихонова, l. c.

грался генеральный геморой, отъ котораго я теряю не мало крови. Увы, лавры и опьяненіе не даются даромъ!

Ну, будьте здоровы и веселы. Поклонъ вашему брату и общимъ знакомымъ. Вашъ А. Чеховъ. 10-го февраля. Нѣтъ почтовой бумаги!“

„Спасибо за ласковое слово и теплое участіе. Меня маленькаго такъ мало ласкали, что я теперь, будучи взрослымъ, принимаю ласки, какъ нѣчто непривычное, еще мало пережитое. Поэтому и самъ хотѣлъ бы быть ласковъ съ другими, да не умѣю: огрубѣлъ и лѣнивъ, хотя и знаю, что нашему брату безъ ласки никакъ быть невозможно“...

Изъ писемъ Вл. Н. Ладыженскому [1]).

Большое тебѣ спасибо, что вспомнилъ и прислалъ письмо... Я въ Ялтѣ, повидимому, поселюсь здѣсь и уже строю себѣ дачу для зимовки, и уже приглашаю къ себѣ пріятелей и друзей, и даю при этомъ клятву, что въ своей крымской дачѣ я не буду заниматься винодѣліемъ и поить своихъ друзей краснымъ мускатомъ... Зимою я буду жить въ Ялтѣ, лѣтомъ же, начиная съ апрѣля, въ Серпуховскомъ уѣздѣ, въ Мелиховѣ. Итакъ, пріѣзжай въ Мелихово, тамъ, обѣдая, я приглашу тебя въ Крымъ. Караси мои здравствуютъ и уже настолько созрѣли, что хочу дать имъ конституцію. Здоровье мое довольно сносно; все еще не женатъ и все еще не богатъ, хотя Марксъ и купилъ мои произведенія за 75 тысячъ. Возникаетъ вопросъ: гдѣ деньги? Ихъ не шлютъ мнѣ и, повидимому, мой повѣренный С. пожертвовалъ ихъ на какое нибудь доброе дѣло или, по совѣту Л. Н. Толстого, бросилъ ихъ въ печь... Не забывай, пиши, пожалуйста, пиши, памятуя, что живу я въ чужой сторонѣ не по своей волѣ и сильно нуждаюсь въ общеніи съ людьми, хотя бы письменномъ.

Я все въ той же Ялтѣ. Пріятели сюда не ѣздятъ, снѣгу нѣтъ, саней нѣтъ, нѣтъ и жизни. Cogito, ergo sum и кромѣ этого cogito нѣтъ другихъ признаковъ жизни... Вообще напиши подробнѣй, дабы я имѣлъ основаніе считать тебя добрымъ человѣкомъ.

---

[1]) См. воспоминанія l. c.

Изъ писемъ Ив. А. Бунину.

8-го января 1904 г.

Здравствуйте, милый Иванъ Алексѣевичъ! Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ! Письмо Ваше получилъ, спасибо. У насъ въ Москвѣ все благополучно и скучно, новаго (кромѣ новаго года) ничего нѣтъ и не предвидится, пьеса моя еще не шла, а когда пойдетъ—неизвѣстно. Очень возможно, что въ февралѣ я пріѣду въ Ниццу, остановлюсь у Н. И. Юрасова, отъ котораго недавно получилъ письмо... Поклонитесь отъ меня милому, теплому солнцу, тихому морю. Живите въ свое полное удовольствіе, утѣшайтесь, не думайте о болѣзняхъ и пишите почаще Вашимъ друзьямъ... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурыхъ сѣверныхъ компатріотовъ, страдающихъ несвареніемъ и дурнымъ расположеніемъ духа. Цѣлую Васъ и обнимаю. А. Чеховъ.

Изъ писемъ Ѳ. Д. Батюшкову [1]).

21-го апрѣля 1897 г.

Милостивый государь Ѳедоръ Дмитріевичъ!

Вы собирались ко мнѣ во вторникъ, а телеграмма Ваша пришла въ среду утромъ. Полагая, что Васъ уже нѣтъ въ Москвѣ, я не телеграфировалъ Вамъ, а сталъ поджидать письма отъ Г., которое Вы обѣщали мнѣ въ Вашей телеграммѣ и котораго я, кстати сказать, еще не получилъ.

Отъ всей души благодарю Васъ за приглашеніе и вообще за Ваше письмо. Я непремѣнно пришлю разсказъ для „Cosmopolis'a", когда? Право не знаю. Въ послѣднее время я считаюсь больнымъ, врачи предписали мнѣ праздность, и я стараюсь слѣдовать этому предписанію, стараюсь не писать. Мнѣ гораздо лучше, чѣмъ было въ мартѣ, но все же въ смыслѣ здоровья будущее мое неопредѣленно, и потому не могу пообѣщать Вамъ ничего опредѣленнаго. Прошу Васъ подождать до осени. Если же случится, въ теченіе лѣта напишу разсказъ, то не замедлю прислать его Вамъ. Разсказъ, по всей вѣроятности, не превыситъ полулиста. Пишу я вообще мало,

[1]) Два — три отрывка изъ этихъ писемъ были приведены раньше въ журналѣ «Міръ Божій».

компактно (не болѣе 10 листовъ въ годъ при счастливыхъ условіяхъ) и потому, volens-nolens, приходится брать подороже.

Позвольте пожелать Вамъ всего хорошаго. Если будете писать мнѣ еще разъ, то кстати напишите, кто такой г. Ортмансъ, издатель „Cosmopolis'a", т. е. идейный онъ человѣкъ или просто такъ? „Cosmopolis" можетъ имѣть успѣхъ въ Россіи, но небольшой въ первые годы. Чѣмъ солиднѣе, серьезнѣе, литературнѣе поведете это дѣло, тѣмъ лучше и, признаюсь, я радъ, что Вы ученый. Въ рукахъ С. русскій отдѣлъ не имѣлъ бы никакого успѣха ни у публики, ни у литераторовъ, у Васъ же онъ пойдетъ, только придется потерпѣть и не смущаться, и если г. Ортмансъ идейный человѣкъ, а не просто издатель, то втеченіе 4—5 лѣтъ «Cosmopolis» станетъ крѣпко на ноги [1]).

Еще разъ желаю Вамъ успѣха и всего хорошаго и еще разъ благодарю. А. Чеховъ.

9-го ноября 1897 г.

Многоуважаемый Федоръ Дмитріевичъ!

Въ Ниццѣ я проживу, по всей вѣроятности, до апрѣля. Въ январѣ я уѣду въ Алжиръ, но адресъ мой останется все тотъ же, такъ какъ уѣду я не надолго. Мой адресъ: 9 rue Gounod, Nice, или, что все равно pensiоn Russe, Nice.

Я обѣщалъ написать разсказъ для „Cosmopolis'a" при первой возможности и, если не случится ничего особеннаго, то, надо полагать, пришлю его въ декабрѣ.

Позвольте пожелать Вамъ всего хорошаго и пожать руку.

Искренно Васъ уважающій А. Чеховъ.

„Cosmopolis" получаетъ здѣсь мой сосѣдъ М. М. Ковалевскій, живущій въ Beaulieu, но получаетъ безъ русскаго отдѣла.

---

[1]) Журналъ, о которомъ идетъ рѣчь, издавался первоначально на 4-хъ, потомъ на 5-ти язык. и постепенно долженъ былъ охватить всѣ цивилизованныя страны. Идея у г. Ортманса несомнѣнно была, но самъ по себѣ онъ не оправдалъ ожиданій и вскорѣ предпріятіе прогорѣло. А. П. все-таки далъ разсказъ (см. ниже). Цѣненъ здѣсь его запросъ объ идейности издателя толстаго международнаго журнала.

15-го декабря 1897 г.

Я пишу разсказъ для „Cosmopolis'a", пишу туго, урывками. Обыкновенно я пишу медленно, съ напряженіемъ, здѣсь же въ номерѣ, за чужимъ столомъ, въ хорошую погоду, когда тянетъ наружу, пишется еще хуже, а потому пообѣщать Вамъ разсказъ раньше, какъ черезъ двѣ недѣли не могу. Пришлю до перваго января, затѣмъ Вы будете добры, пришлете мнѣ корректуру, которой я не продержу у себя дольше одного дня, и такимъ образомъ можете разсчитывать на февральскую книжку, не раньше.

Видите, какой я хохолъ!

Вы выразили желаніе въ одномъ изъ вашихъ писемъ, чтобы я прислалъ интернаціональный разсказъ, взявши сюжетомъ что-нибудь изъ мѣстной жизни. Такой разсказъ я могу написать только въ Россіи, по воспоминаніямъ. Я умѣю писать только по воспоминаніямъ и никогда не писалъ непосредственно съ натуры. Мнѣ нужно, чтобы память моя процѣдила сюжетъ и чтобы на ней, какъ на фильтрѣ, осталось только то, что важно или типично.

3 января 1898 г.

Многоуважаемый Ѳ. Д, посылаю вамъ рукопись. Пожалуйста, пришлите корректуру, такъ какъ разсказъ еще не конченъ, не отдѣланъ и будетъ готовъ лишь послѣ того, какъ я перепачкаю вдоль и поперекъ корректуру. Отдѣлывать я могу только въ корректурѣ, въ рукописи же я ничего не вижу.

Въ разсказѣ немного менѣе печатнаго листа. Скажите, чтобы мнѣ прислали корректуру на тонкой бумагѣ, такъ какъ возвращать ее придется не бандеролью, а въ письмѣ. Здѣсь на почтѣ не принимаютъ русскихъ печатныхъ произведеній, направляемыхъ въ Россію.

Поздравляю Васъ съ новымъ годомъ и желаю всего хорошаго.

23 января 1898 г.

Многоуважаемый Ѳ. Д., возвращаю Вамъ корректуру. Типографія не оставила полей, такъ что пришлось заниматься подклейкой.

Оттиски вашей статьи, о которой вы писали мнѣ, пожалуйста пришлите мнѣ сюда въ Ниццу. Тутъ я проживу, вѣроятно, до

апрѣля, буду скучать, и ваша статья сослужитъ мнѣ двойную службу.

У насъ только и разговору, что о Зола и Дрейфусѣ. Громадное большинство интеллигенціи на сторонѣ Зола и вѣритъ въ невинность Дрейфуса. Зола выросъ на цѣлыхъ три аршина; отъ его протестующихъ писемъ точно свѣжимъ вѣтромъ повѣяло и каждый французъ почувствовалъ, что, слава Богу, есть еще справедливость на свѣтѣ и что, если осудятъ невиннаго, есть кому вступиться. Французскія газеты чрезвычайно интересны, а русскія—хоть брось. „Новое Время“ просто отвратительно.

Оттиски моего разсказа не откажите послать моей сестрѣ по адресу: Лопасня, Моск. губ. Маріи Павловнѣ Чеховой.

Погода здѣсь чудесная, лѣтняя. За всю зиму я ни разу не надѣвалъ галошъ и осеннее пальто и за все время только два раза выходилъ съ зонтикомъ.

Позвольте пожелать вамъ всего хорошаго и поблагодарить за ваше вниманіе, которое я цѣню дорого. Крѣпко жму руку и въ ожиданіи вашей статьи пребываю искренно васъ уважающій

А. Чеховъ.

24 янв. 1900 г.

Многоуважаемый Ѳ. Д. Рошъ [1]) проситъ выслать ему тѣ мѣста изъ „мужиковъ“, которыя были выброшены цензурой. Но такихъ мѣстъ не было. Есть одна глава, которая не вошла ни въ журналъ, ни въ книжку; это разговоръ мужиковъ о религіи и властяхъ. Но посылать эту главу въ Парижъ нѣтъ надобности какъ и вообще не было надобности переводить „Мужиковъ“ на французскій языкъ.

Сердечно благодарю васъ за фотографію: Иллюстрація Рѣпина это честь, какой я не ожидалъ и о какой не мечталъ. Получить оригиналъ будетъ очень пріятно; скажите Ильѣ Ефимовичу, что я буду ждать съ нетерпѣніемъ и что онъ, Илья Ефимовичъ, раздумать теперь ке можетъ, такъ какъ оригиналъ я завѣщалъ уже г. Таганрогу, въ которомъ, кстати сказать, я родился.

Въ своемъ письмѣ вы упоминаете о Горькомъ, вотъ кстати: какъ нравится вамъ Горькій? Мнѣ не все нравится, что онъ пишетъ, но есть вещи, которыя очень, очень нравятся, и для меня

[1]) Денисъ-Рошъ—французскій переводчикъ произведеній А. П. (ему-же принадлежатъ наилучшіе переводы по-французски цѣлаго ряда нашихъ писателей Лѣскова, Короленко, М. Горькаго и др.).

не подлежитъ сомнѣнію, что Горькій сдѣланъ изъ того тѣста, изъ котораго дѣлаются художники. Онъ настоящій. Человѣкъ онъ хорошій, умный, думающій и вдумчивый, но на немъ и въ немъ много ненужнаго груза, напр., его провинціализмъ.

Вы пишете: „не знаешь откуда чаять движенія воды". А вы чаете? Движеніе есть, но оно, какъ движеніе земли вокругъ солнца, невидимо для насъ.

Спасибо вамъ большое за письмо, за то, что вспомнили. Мнѣ здѣсь скучно, надоѣло, и такое чувство, какъ будто я выброшенъ за бортъ. А тутъ еще погода дурная, нездоровится. Я все еще продолжаю кашлять.

Желаю вамъ всего хорошаго.

Преданный А. Чеховъ.

25 апрѣля 1902.

Многоуважаемый Ѳедоръ Дмитріевичъ!

Простите, немного запоздалъ отвѣтомъ на ваше письмо. Причинъ тому много, главная—болѣзнь жены. Здѣсь въ Ялтѣ она заболѣла по настоящему, температура доходила до 39, были боли, не дававшія ей спать въ теченіе цѣлой ночи; теперь ей полегчало, но все же съ постели она не встаетъ и лежитъ на спинѣ. Очень похудѣла.

На ваше приглашеніе сотрудничать въ „Мірѣ Божіемъ" отвѣчаю только моимъ согласіемъ. Буду у васъ сотрудничать съ удовольствіемъ и остановка только за здоровьемъ. Ужъ очень я раскисъ въ послѣднее время; никогда я такъ не болѣлъ, какъ въ минувшую зиму, и только недавно сталъ поправляться, хотя за послѣдніе 4—5 дней кашель мой опять усилился. Ну, авось обойдется. Если все будетъ благополучно, то въ сентябрѣ напишу вамъ, началъ я работать или нѣтъ.

Вы писали мнѣ про Э. Л. Радлова. Я каждый день поджидалъ его—и не дождался. Вѣроятно онъ слышалъ въ Ялтѣ, что у меня въ домѣ больная, и постѣснялся. Если такъ, то очень жаль.

Позвольте пожелать вамъ всего хорошаго. Жена кланяется и шлетъ привѣтъ.

Искренно преданный А. Чеховъ.

6 ноября 1902 г.

Многоуважаемый Ѳедоръ Дмитріевичъ, въ Ялтѣ я былъ нездоровъ и ничего не дѣлалъ, теперь же тоже почти ничего не дѣлаю, такъ какъ съ утра до поздняго вечера принимаю посѣтителей, но, несмотря на нездоровье и хроническое бездѣлье, я все-таки не теряю надежды въ скоромъ времени засѣсть за работу и написать небольшую повѣсть или разсказъ для вашего журнала. Въ какомъ мѣсяцѣ—въ декабрѣ или январѣ—произойдетъ это, я не знаю, но все-таки могу васъ увѣрить, писать засяду, если, конечно, буду живъ и здоровъ, и разсказъ вамъ пришлю. Поэтому мнѣ кажется, выставить мое имя въ анонсахъ сотрудниковъ на будущій годъ—можно.

„На днѣ“ пьеса хорошая; она, какъ говорятъ, измарана цензурой, но все таки пойдетъ, и скоро начнутся правильныя репетиціи, къ тому-же есть надежда, что цензоръ смѣнитъ гнѣвъ на милость и кое-что возвратитъ пьесѣ. Вчера шла „Власть тьмы“ не безъ успѣха. Не ахти какіе таланты, но за то въ постановкѣ чувствуется много добросовѣстности и любви къ дѣлу.

Крѣпко жму вамъ руку и желаю всего хорошаго.

Будьте здоровы.

Преданный А. Чеховъ.

11 января 1903 г.

Многоуважаемый Ѳедоръ Дмитріевичъ, всѣ эти дни я собирался писать вамъ, сегодня пришла ваша телеграмма, и вотъ, наконецъ, я сѣлъ и пишу. У меня былъ плевритъ, и только вчера сбросилъ согрѣвающій компресъ. Съ болѣзнью возился всѣ праздники, ничего не дѣлалъ, и теперь все, что началъ, придется начинать снова, начинать съ досадой. Простите меня, безъ вины виноватъ передъ „Міромъ Божіимъ“. Когда будетъ разсказъ, навѣрное не могу сказать. Плохимъ я сталъ работникомъ, говоря въ скобкахъ.

Первую книжку „Міра Божьяго“ мнѣ принесли изъ женской гимназіи, я прочелъ статью Альбова [1]) съ большимъ удовольствіемъ. Раньше мнѣ не приходилось читать Альбова, хотѣлось бы знать, кто онъ такой, начинающій ли писатель, или уже видавшій виды.

[1]) Статья озаглавлена: Два момента въ развитіи творчества Чехова.

Итакъ „Міръ Божій“ принесли мнѣ изъ женской гимназіи и обѣшали доставлять мнѣ каждую книжку; стало быть, если вы и въ этомъ году будете высылать мнѣ журналъ, (за что я вамъ безконечно благодаренъ), то высылайте въ Москву по прежнему адресу.

Ваша статья о Горьковской пьесѣ мнѣ очень понравилась. Тонъ превосходный. Пьесы я не видѣлъ, знаю ее совсѣмъ мало, но, прочитавъ вашу статью, понялъ, что это превосходная пьеса и что не имѣть успѣха она не могла.

Завидую вамъ, вообще всѣмъ, имѣющимъ возможность жить не въ Крыму.

Крѣпко жму руку и еще разъ прошу извинить меня, войти въ положеніе.

Авось въ будущемъ покрою грѣхи свои. Желаю вамъ всего хорошаго. Вашъ А. Чеховъ.

21 декабря 1903 г.

Дорогой Ѳедоръ Дмитріевичъ, сегодня получилъ я по почтѣ изъ Ялты телеграмму, которую вы послали недѣлю тому назадъ. Отвѣчаю и я вамъ по почтѣ.

Всю осень, начиная съ августа, я былъ боленъ; меня изводилъ кашель и разстройство кишечника, я не работалъ, и пришлось минувшую осень вычеркнуть изъ книги живота, какъ ненужное и лишнее время. Теперь я живу въ Москвѣ, здоровье мое несравненно лучше, чѣмъ было въ Ялтѣ, но, нужно сказать, почти совсѣмъ не работаю, такъ какъ приходится часто бывать на репетиціяхъ въ Художественномъ театрѣ. Пьесу обѣщаютъ поставить не позже 9 января; стало быть, до 10 января мнѣ придется болтаться безъ дѣла, много разговаривать и изъ-за пустяковъ много волноваться. Очень бы хотѣлось пообѣщать, дать слово, что разсказъ будетъ присланъ не позже февраля....

Не будете ли вы на праздникахъ въ Москвѣ?

Крѣпко жму руку и желаю всего хорошаго, здоровья и веселаго настроенія. Вашъ Чеховъ.

19 января 1904 г.

Дорогой Ѳедоръ Дмитріевичъ, увѣряю Васъ, юбилей мой (если говорить о 25) еще не наступилъ и будетъ не скоро. Я пріѣхалъ въ Москву, чтобы поступить въ университетъ, во второй половинѣ 1879 г., первая бездѣлушка въ 10—15 строкъ была напечатана

въ мартѣ или апрѣлѣ 1880 г. въ „Стрекозѣ“; если быть очень снисходительнымъ и считать началомъ именно эту бездѣлушку, то и тогда мой юбилей пришлось бы праздновать не раньше, какъ въ 1905 г.

Какъ бы то ни было на первомъ представленія „Вишневаго сада“ 17 января, меня чествовали, и такъ широко, радушно и въ сущности такъ неожиданно, что я до сихъ поръ никакъ не могу придти въ себя.

Если вы пріѣдете на масляницѣ, то это хорошо. Только, какъ думаю, не раньше масляницы наши актеры придутъ въ себя и будутъ играть „Вишневый садъ“ не такъ растерянно и не ярко какъ теперь.

За ваше привѣтствіе приношу вамъ самую глубокую благодарность, прямо отъ сердца. Спасибо вамъ большое, безконечное.

Крѣпко жму руку и низко вамъ кланяюсь, будьте здоровы и благополучны.

Вашъ

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Предисловіе	V
I. А. П. Чеховъ по воспоминаніямъ о немъ и письмамъ, *Ѳ. Д. Батюшкова*	1
II. Стихотворенія.	
а) Посвященіе Плещеева А. П. Чехову (1888 г.).	43
б) Памяти Чехова:	
1904 г. „Я не зналъ, какъ я тебя любилъ", *А. Амфитеатрова*	45
— „Отъ смерти не уйти, но онъ угасъ такъ рано", *А. Аѳанасьева*	47
— „Еще недавно между нами", *Эм. Бескина*	49
— „Онъ умеръ, тоскуя о ясной зарѣ", *Г. Вяткина* . . .	51
— „Да онъ вѣрилъ, что жизнь впереди", *Г. Галиной* . .	52
— „Его похитилъ рокъ суровый", *Гарольда*	53
— „Свой грустный смѣхъ надъ пошлостью земной", *Вл. Ладыженскаго*	54
— „Послѣдній вздохъ—аккордъ печальный", *А. Лукьянова.*	55
— „Неумолимый рокъ унесъ его въ могилу", *Скитальца.*	56
— Въ вишневомъ саду, *Чернобаева*	58
— Лебединая пѣснь, *О. Чюминой*	59
1905 г. „Хмурый, съ тайной глазъ суровыхъ", *Л. М. Расиевскаго*	60
— Въ сумракѣ, *Як. Година*	61
— „О если бы узнать, зачѣмъ все это было", *К. Калитина*	62
— „Онъ вышелъ въ путь, когда отчизна спала", *А. Карасевича*	63
— „Онъ умиралъ въ предъутреннемъ туманѣ", *А. Лукьянова*	64
— „Годъ пролетѣлъ, какъ воронъ черный", *Л. Мунштейна*	65
— „Ты говорилъ намъ про страданья", *В. Нарановичъ.* .	69
— „Тогда цвѣты на стебляхъ увядали" и „Ты съ нами жилъ", *М. Пустынника*	70

	стр.
Отрывокъ, *Тана*	72
„Ты любилъ ее робко, эту жизнь многоцвѣтную“, *К. Ч.*	74
Въ Крыму и „Онъ говорилъ: я умираю“, *О. Чюминой*	75
„Одинокой души одинокій пѣвецъ“, *Дмитрія Цензора*	78
„Съ лазурной вышины лучами солнца лило“, *С. Якимова*	79
„Его я часто вспоминаю“, *А. Ѳедорова*	81

Стихотворенія.

Лѣсъ Узники	*Л. Андрусона*	82
„Много думъ зарождалось во мнѣ“ „Ты знаешь, ты помнишь“	*В. Башкина*	85
„Звѣзды каплями дрожали“ „Впереди колеблются ступени“	*Л. М. Василевскаго*	87
„Не убей“, *П. И. Веймберга*		88
„Одинъ, опять одинъ“, *Арк. В—аю*		89
У ручья Три тѣни	*А. М. Вербова*	90
Въ лѣсахъ, *Л. Вилькиной*		92
„Я вѣрю, что въ каждомъ таится призванье“ „Душою привѣтною тихую душу узнать“	*Вл. Волькенштейна*	93
Сѣверныя картины Дыханіе прохлады	*Як. Година*	94
„Слеза и блѣдная улыбка“, *Из. Гриневской*		96
„Воздушный, блѣдно-алый“, *Б. Ленскаго*		98
Въ крыму, I—II Тѣмъ, кто печальны (Изъ Асныка)	*А. Лукьянова*	100
Любовь, *С. Маковскаго*		103
Зачѣмъ, *Н. Минскаго*		104
„Медленно ночь наступала“, *В. Оксъ*		105
Во дворѣ, *М. Пожарова*		106
У окна Въ городѣ	*А. Рославлева*	107
Снѣгурка, *Ѳ. Сологуба*		109
Дни „Взгляни: наше небо болѣзненно блѣдно“ Звѣздамъ Изъ изгнанья	*Евг. Тарасова*	110
Въ бѣлыя ночи, *В. Уманова-Каплуновскаго*		115
Осень (сонетъ) Облако Потокъ Двѣ элегіи	*Дмитрія Цензора*	116
Непримиримому, *А. Черемнова*		120

		стр.
Erühlings Erwachen Пробужденіе Изъ „Зимнихъ сновъ“ Вечерняя печаль	*О. Чюминой*	121
Дорога „Куда ни глянь—волнистымъ покрываломъ“ „Изъ предразсвѣтнаго тумана“	*Н. Щепкиной*	125
Плѣнная царевна Fides-spes-amor	*Г. П. Щепкиной-Куперник*	127
„Утро. Въ щель гардины“,	*Н. Янкевичъ-Платоновой*	129
„Снѣгъ падаетъ безшумный“,	*А. Ѳедорова*	131

Письма А. П. Чехова.

Дм. Вас. Григоровичу	139
А. Н. Плещееву	142
Н. П. и М. П. Чеховымъ	163
Неизвѣстному лицу	166
П. А. Сергѣенко	167
Ив. Л. Щеглову	168
Вл. А. Тиханову	174
Вл. Н. Ладыженскому	176
Ив. А. Бунину	177
Ѳ. Д. Батюшкову	—

Stanford University Libraries
3 6105 124 450 086

PG
345
A.N

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.